

Надо быть душой

Повесть

ВООБЩЕ-ТО Я ХОТЕЛА рассказать сказку.

Мне не позволили. Сказали:

— Сказки любили в Советском Союзе. В них верили, почему? Потому что будущее казалось сказкой. Помнишь, сколько было историй про полёты к звёздам, другим мирам? Теперь сказки — немодно.

— А что модно?

— Покруче. Пожётче. Про невыносимую реальность бытия с мордобоем и эротикой. Рассказывай и хмыкай, будто ты ценитель... Будто понимаешь, о чём речь. Понимаешь и осуждаешь...

— Я какая-то совсем советская... Хмыкать не люблю. Люблю сказки. Меня пытались отучить от них — не получилось.

— Сказки она любит, ну-ну... И неужели тебе неинтересно рассказать про настоящую... подлинную жизнь?

Я задумалась, пытаюсь подобрать ответ. Пришлось сказать им правду.

— Знаете, я из того поколения, которому в большинстве своём про жизнь неинтересно. А интересно только про себя.

— Давай про себя! Кто ты? Как тебя зовут?
— Зовут... Да никак меня не зовут! Правда, вначале...

Дура

ВНАЧАЛЕ МЕНЯ звали Душой.

Почему-то так называли те, кто видел впервые. Наверное, виной моя привычка задумываться с открытым ртом, замирать... Я не знала, в чём дело было.

Помню, как во дворе проходила мимо пацанов, свесивших ноги с обшарпанной трубы. Один из них повернулся ко мне и с насмешливым спокойствием сказал: «Девочка, ты не представляешь, какая ты дура!». Я их не знала. Я их видела впервые в жизни...

А они узнали меня, потому что я — дура.

Одна такая на весь двор. Впрочем, не только двор. Меня знали все. И где бы я ни появлялась, везде за мной гналось моё проклятье. Везде чувствовали дуру.

Даже дома не получалось скрыться. Окна первого этажа — вровень с бетонным забором, окружавшим стройку. Мальчишки, балансируя на заборе, увидели меня в окне. Я стояла посреди комнаты с игрушкой, с зайцем Ушастиком,

грязно-белым с чёрными пуговками-глазами. Смотрела на них, а они почему-то начали смеяться... Хохотали и показывали пальцем. А потом, когда наступил вечер, я задёрнула занавески, а они — опять на заборе напротив моего окна. Из комнаты услышала их крик:

— Олее, оле-оле-олеее! Дурааа, Дура-Дура-Дурааа!

Мне негде было спрятаться.

Меня преследовали. За мной следили. Безликие, они окружали и наблюдали издали, звали: «Дура, Дура»...

На одной из стен моего дома до сих пор написано: «Девочка — Дура!» Когда-то я обходила это место, не смотрела, боялась увидеть... Мне было стыдно.

По выходным мама брала меня на дачу. Там двое пацанов, соседи напротив. Они, кажется, целыми днями следили за мной. Их дача — через дорогу, но я всё слышала. Один сказал другому: «Давай поиграем в Дуру. Я буду „Дурой“, а ты — „мамой“». И они изобразили, как мы с мамой тащили ветки на свалку. «Мама» несла на плече, а «Дура» волокла за собой, потому что маленькая и тяжело.

А когда мы с мамой шли домой с электрички, сзади нас бежала девчонка, моя ровесница, и кричала: «Ду-ра! Ду-ра! Ду-ра!». И видя, что я не реагирую, — ещё громче: «Девочка, ты Дура!!!».

Тогда мама повернулась и прикрикнула: «А ну-ка, пошла отсюда! Я твоей матери расскажу!».

И девочка убежала. Мне показалось, это Инна, моя одноклассница.

— Ты что, расстроилась? — спросила мама. — Это неадекватная девочка. Разве можно назвать незнакомого человека — дурой?

Можно, мама. Меня — можно.

До того, как я родилась, мама была актрисой. Моё рождение — поступок бесстыдный, из-за него мама оставила театр. Так и говорит: «Я на тебя всю жизнь положила, а ты...». Дальше может быть: не вынесла мусор, не сделала уроки. Не закрыла сессию, не вышла замуж, до сих пор мне внуков не родила...

Мама ушла из театра и продолжила играть в семье. Играет она в тесной кухне, где на лампочку без плафона опасно смотреть, как на солнце. Распаренная жаром кастрюль, такая большая и сияющая в электрическом свете, кричит:

— У тебя форточка закрыта? Щас проверю!

Больше всего на свете мама боится форточки. В душевной комнате пахнет порошком: мама следит за чистотой.

Не знаю, что мама за человек. Но чувствую... Ощущаю её как большого нежного зверя, дикую медведицу. У неё короткие толстые пальцы и огромная грудь. Она говорит, что долго кормила меня грудью и теперь, когда я вижу эту грудь, злюсь, будто когда-то переела сладкого молока и не хочу больше... Будто инстинктивно защищаюсь от чего-то. Мамина нежность — давящая, нависающая надо мной безнадёжным дождевым облаком.

Из комнаты прислушиваюсь... Неровные, хромящие шаги — на кухню входит папа. Джесси спрыгнула с табуретки и мяучит, просит варёное яйцо, а папа говорит, что она кошка аристократических свойств, раз только яйца жрёт... Однажды мы с папой подвесили вилку с наколотым на неё яйцом к потолку, и тогда Джесси прыгала высоко-высоко. Мы радовались, что она прыгает... Мама кричит, а папа терпит, потому что считает себя мудрым.

— Расселся, как свинья! Сажни расставил... А ну-ка кышь! — у мамы задорный, вовсе не злой голос, зато громкий, аж тарелки звенят. Папа что-то отвечает, спокойно и тихо.

В такие моменты нужно сжаться и ждать. Мама лепит пельмени к папиному дню рождения, а праздники она любит. Когда праздник, мама перестаёт про форточку. Наверное, оттого что в театре всегда был праздник, — работа такая.

Мама из деревенской семьи, по-деревенски бойкая, но с повадками первой актрисы столичного театра. Губы накрашены ярко-красной помадой, ресницы — советской тушью за копейки. Кто знает, откуда у неё эта тушь, с каких времён? Мочки ушей оттягивают тяжёлые золотые серьги, а чёрные волосы с перьями проседи она заплетает в косу, совсем уже тонкую, но длинную и упругую. Когда мама лепит пельмени, с силой сжимая твёрдое тесто, коса хлыстом бьёт по спине.

Я люблю маму, но никогда не говорю об этом. Кажется, если скажу, почему-то станет больно.

Я была дурой, а мама за меня боялась, пугалась размашистыми движениями, будто подгребая под себя пространство квартиры...

— Бедная твоя матерёшка бьётся, бьётся, а всё без толку! — врывается в мою комнату, и нутро фортепиано гулко откликлось: — А ну-ка, надень берет!

Ребята во дворе смеялись над маминым бере- том, в который проваливалась моя голова. «Ду- ра в берете!» Мама, конечно, не знала, что я ду- ра, а я и не думала рассказывать.

Когда я пошла в первый класс, мама испуга- лась, что в школе заразные унитазы в туалетах. Велела подстилать газетку, чтобы садиться на них, что, конечно, послужило лишним поводом для насмешек.

Мама боялась, что я замёрзну, заражусь, ис- порчу глаза долгим чтением... Не поняв, почему она запрещает мне читать, — может, она мне и говорила, но детский ум не удержал причи- ну, — я читала тайком под кроватью и бы- стро-быстро прятала книгу, когда она заходила!

— Опять читала? — мама в дверях, готовая к сражению, руки в боки, грудь вперёд...

— Н-н-нет, мам, что ты...

После долгого чтения под кроватью глаза действительно испортились.

Зато «запретных» книг прочла много. Для меня все книги были запретными. Что делало их гораздо интересней — волшебные сказки, от которых жизнь моя светилась не режущим све- том лампочки без плафона, а светом иным, звёздным. Они кричат: «Дура!», но внутри меня есть что-то, отчего я не растворяюсь в их крике, что-то — и оно меня держит. Не знаю, как на- звать это «что-то»... Но оно пришло из сказок под кроватью.

Мы становимся теми, кого любим. Тревога шумной мамы-актрисы наэлектризовывала комнату, перемешиваясь с материнской нежно- стью, а я всё чувствовала, впитывала... И боя- лась, как мама.

Боялась болезней — так сильно, что вскоре стала падать в обморок. Одноклассники и учи- теля не знали, что это я от страха. Они думали, я чем-то болею. Я ненавидела уроки валеологии (науки о здоровье, чёрт бы её побрал!), на кото- рых нам рассказывали про страшные заболева- ния. Бледнела, поднимала руку: «Можно вый- ти?», выбегала из класса под дружное гогота- ние... Вокруг белело, чернело, ударяло в голову, хотелось прилечь, опереться, а коридор звенел и засасывал, воздух густел и качался, я дышала, дышала, плыла в искривлённом пространстве, держась за подоконник, а рядом какие-то люди говорили глухо, будто из глубоководья, и тыка- ли в лицо ваткой с нашатырём... А потом всё кончалось, отступало. И я шла на урок.

Болезни, а чего их бояться? А я жила и убе- ждалась: боюсь не напрасно. Сколько всего по

телевизору передают: то эпидемия какая-ни- будь новая, и марлевые повязки уже раскупи- ли, то умер кто-то от гриппа, а ведь есть ещё СПИД, а мама говорит, надо мыть руки, везде микробы.... Впрочем, решила: одолею страх! И залезла меж двух стульев с толстым ме- дицинским справочником. В голове мутилось, кружилось, расходилось красными, жёлтыми пятнами, рваными кругами... Читала названия и описания. Вот есть панариций. Пангипопи- туитаризм, панкреатит, паникулит... Функци- ональная недостаточность всего, инфицирова- ние какой-то жутко непрогнозируемой области и вершина ужаса: бугристая родинка, внешним видом напоминающая папиллому... Оператив- ное вмешательство? При необходимости. Вы- рывалась из медицинской западни, из кровя- нистых терминов, пахнущих мочой... Я раски- дывала стулья...

Боялась вспышки фотоаппарата. На детских фотографиях я похожа на слепого котёнка, с крепко зажмуренными глазами и слипшейся чёлкой. Напрасно бедняга фотограф уговаривал взглянуть на него, я знала: фотоаппарат мог оказаться ружьём. В одной сказке так обманули волка. Сказали, что хотят сфотографировать. И застрелили. Бедный волк! Не то чтобы я все- рьёз полагала, будто меня застрелят... Но когда хищный фотограф ставил нас к стенке, как пе- ред расстрелом, я впадала в панику.

Потом мне, конечно, объяснили, что мой страх вполне рационален: по народному пове- рью, когда человек фотографируется, у него от- бируют часть души...

Конечно, я боялась смерти.

Одни говорят, жизнь после смерти есть; дру- гие вздыхают — нет там ничего. Миллионы лет не могут определиться. «Но я-то наверняка вы- числю!» — решала я и вставала на колени пред пыльным папиным шкафом, и искала ту самую книгу, в которой есть ответ. Ходила в библиоте- ку, которая стала моим храмом, где в тишине за- жигала настольную лампу, пред которой пре- клонялась в благоговении (мама говорит: «Глаза порешишь»). Пропадала в интернет-классах — о, волнительное начало электронной эры!

Я узнала о смерти многое. «Мы разноцвет- ные души, а вообще-то просто двоечники, при- шедшие на Землю, чтобы усвоить уроки», — твердили под гипнозом пациенты Майкла Нью- тона из Калифорнии, и я верила ему. Этот ваш

Майкл Ньютон — шарлатан, говорили другие, а ваш Монро так вообще...

— Что там? — спросила нейрофизиолог Наталья Бехтерева умершего мужа, навестившего её во сне. Он пришёл сообщить, где лежит неизданная рукопись.

— Ничего, — ответ Бехтереву удивил. Она была верующим человеком и ожидала другого.

— Но из ничего нельзя прийти!

— А вот умрёшь... узнаешь.

И мне почему-то казалось, что и из Ничего прийти можно.

Зигмунд Фрейд, великий Фрейд, по заветам которого живут любители секса и подсознания, сказал, что мы не боимся смерти. Нам только кажется, что мы боимся. Дедушка Фрейд оказался хитёр: с ходу заявил — нельзя бояться того, не зная чего! Откуда ты знаешь, что такое смерть? Ты хоть раз умирали? Его идея меня поразила. Ведь действительно, я ни разу в жизни не умерла... странная мысль. Смерть у каждого своя. Кто-то боится потерять контроль над своим телом. Кто-то переживает за оставленных родных...

Моя смерть принимала разные лики. Гаража, с которого обязательно нужно прыгнуть в сугроб, иначе они будут смеяться... Толстого медицинского справочника. Домового, каждую ночь бегающего по моей комнате.

Но папа сказал: смерти нет, есть только переход. Душа улетает и печалится лишь о том, что не докричаться до плачущих родственников и никто не понимает, как ей хорошо. Я верила папе — не потому, что он лучше знал, а потому, что он папа.

Однако вот что странно: говоря о душе, папа беспокоился о теле. Он боялся, его будут поедать черви и он почувствует, как они прорывают норы, проникают в гниющие мышцы, а растения цепляются корнями, впиваются, высасывают остатки тканей. Чувствовать себя от первой иллюзии бессмертия до последней съеденной клеточки тела, каково это? Мы приходили к папе, я и Джесси, помолчать и посмотреть, как за окном ветер усиливается, облака набухают, превращаются в тяжёлые, будто беременные, тучи, синие нарывы, сплетение нервов, готовых разорваться... Папа глядел на меня с усилием — взгляд гипнотизёра под колючими густыми бровями, — он говорил:

— Хочу, чтоб меня кремировали. Ты скажи маме!

Добавлял мечтательным голосом:

— А пепел бросить в реку... Лучше в Енисей, я ж в Красноярске родился, хорошо бы... Но далеко. Можно и в Обь...

У папы болят ноги, и он почти всегда на диване. Обычно папы быстроходны, где-то гуляют и, если надо, дерутся. Такой папа мне бы не пошёл: бегаёт, суетится, сам не знает, чего бегаёт... Мой папа похож на дуб, в тени которого отдыхают волшебные звери. Или на мудрого удава, неповоротливого и именно потому почитаемого.

В юности папа был пловцом. После института работал в секретном городе, где получил облучение радиацией. Он с таким воодушевлением говорит это «в секретном городе», что сразу хочется найти этот город и туда уехать... В бедре у папы стальной протез, на рентгеновском снимке похожий на светящегося человечка — человек склонился и молится. Впервые за много-много лет папа идёт в бассейн — боль в ногах утихла, пусть ненадолго, и папа хочет воспользоваться передышкой, ощутить воду. Как давно он не плавал! Папа в себе не сомневается, ведь у него разряд по плаванию. Привычным движением ныряет с бортика... И неожиданность: протез тащит папу ко дну. Совсем забыл про протез, цепляется за бортик, и как он мог забыть, это не его, это чужие ноги!

Вечером за столом, пахнущим сладкими духами, папа по трафарету рисует турбину, питательный насос, цирк. насос (весёлый, как в цирке), трубы, задвижки, конденсатор и генератор, красным горячую воду, а холодную синим — я знаю, как всё это рисуется. Потом радуется тому, что нарисовал, всем объясняет. Похоже на то, как я иногда показываю свои рисунки маме и папе. Только для папы это всё — работа.

Есть у папы и другая работа, ещё более замечательная. К папе приходят люди, много людей каждый день... В основном женщины. Перед их приходом папа накрывает стол скатертью — мама специально погладила. Бреется, моет голову и расчёсывает редкие серебристо-чёрные волосы. Заваривает чай. Выгоняет Джесси с кресла, а потом счищает шерсть, поглядывая на часы. Надевает белую рубашку, душит парфюмом с запахом сигар и зажигает три свечи... Мой папа — экстрасенс.

Он берёт маятник, сплюснутый деревянный шарик на ниточке, и через него разговаривает с Информационным Полем. Если ответ «да»,

маятник качается сверху вниз, «нет» — справа налево, но можно и наоборот.

Мама говорит: «Бакулкой трясёт».

А ещё она говорит, что если бы не папа, мы не смогли бы прожить на мамины деньги втроём.

Иногда папа проводит сеансы на расстоянии. Мне нравится смотреть. Папа вызывает незримый «фантом», читает молитву, и христианская молитва, вопреки заповедям, сопровождает колдовство. «Негативную энергию» папа стряхивает мукой на невидимого дракончика.

— Пап, он пересел! Вот сюда!

— Правда? — улыбается с недоверчивым интересом.

Конечно, что дракончик пересел, я придумала. Мне нравится, что папа слушается.

Жизнь и смерть — игра, но они, солидные люди, папины пациенты, не знают этого... Это наш с папой секрет. Мне нравится, когда они нас боятся.

Вообще мне нравится управлять родителями. К примеру, мама боится, когда я болею.

Лежу с температурой, встану — слабею, лечь хочется... Мама заваривает лекарства, а я думаю, что настало время для эксперимента... Что я, не актриса, что ли?

Начинаю плакать и делать вид, что умираю. Мама пугается, говорит: «Не уходи!». Внутренне торжествую...

— Куда не уходить? Я тут лежу... — притворяюсь я, будто не понимаю, «куда» она меня не отпускает.

У папы много теорий. Например, он рассказал мне, как появились люди на Земле.

Есть люди — потомки обезьян. Другие — инопланетян, прилетевших на Землю в глубокой древности. Иные — потомки тех легендарных первых людей, которых создал Бог.

Потомков обезьян узнать легко. Можно увидеть, как они кривляются на камеру в каком-нибудь телешоу или в транспорте, злые или по-глупому радостные. Бывает, обнаружат себя, когда полезут к окошечку регистратуры без очереди, обернутся, и прочтёшь во взгляде: «Мы-то вон, эволюцию прошли, а ты-то чего?».

Люди-инопланетяне... Политики с прохладным взглядом, скользящим по поверхности; со странными, необъяснимыми лицами, которые хочется сдёрнуть с них, убедиться — маска! Игроки в покер, игроки в жизнь, они оказыва-

ются у окошечка регистратуры так неожиданно, что становится обидно. Видимо, прошмыгнули между ног.

Созданные Богом нелогичны и способны делать глупости. В очереди травят анекдоты, рассуждают о смысле очереди и регистратуры, жалуются на тусклость ламп и восхищаются чахлым больничным цветочком на подоконнике. Папа полагает, в России много таких. Бог создал их по образу и подобию своему. Глядя на них, можно решить: этот Бог был порядочным чудачком...

В каждом из нас присутствуют гены чистой, изначальной природы. Ген в человеке, божественный, инопланетный или обезьяний, передаётся от отца или от матери. Как повезёт...

Я надеюсь, что меня создал Бог.

Чечня

ВСЁ ЭТО БЫЛО слишком давно. Простите меня... Кажется, мои внутренние часы сбились и показывают неправильное время. Помню только, что однажды пошла в школу, и то были времена тёмные и страшные, забытые в самый уголок моего сознания. Времена, обитающие на краешке моего ума. Они на самой глубине, будто в другой жизни, до моего рождения. Там, где туман... Там и сейчас стоит моя школа.

Утром школа погружается в туман. Спускаешься по одной лестнице, проходишь детский садик, сбегает по горке, ещё лесенка — и ныряешь в школу. Никто не увидит тебя, лишь тёмная фигурка проявится в тумане и скроется, школа поглотит тебя, как других детей.

Иногда мне хочется пойти в школу, и я иду туда — во сне. Наяву тоже можно, вот только я боюсь. Говорят, я молодо выгляжу, но вдруг не удастся смешаться с толпой одиннадцатиклассниц? А что, если они рассекретят меня? Дежурные потребуют сменку на лестнице, а у меня нет. Или ещё хуже — узнают, вспомнят, кто я такая...

Впрочем, и во сне мне туда не хочется. Какая-то сила гонит меня, и я иду... Прохожу по сырому голубому коридору, который кажется серым в тусклом утреннем свете, мимо библиотеки — пахнет книгами, вдоль гардероба, где по-прежнему погнута перегородка, чтобы лезть за одеждой, когда закрыто. Отчего-то тревожно и колени дрожат. Спускаюсь вниз, а там бродят запахи, между спортзалом и столовой...

В спортзале высокий потолок — взглядом не достанешь, свет льёт в огромные окна, крикнешь — ответит эхо. Скамейки, бордовые круги на стенах для метания резиновых мячиков, баскетбольные кольца.

Волнуюсь, будто что-то ищу, будто чего-то не хватает. Раздевалки. Мужскую обхожу стороной — не дай бог перепутать, даже если там нет никого! Захожу к нам, в женскую. Спиртовой запах дезодоранта. В темноте белеет оставленный лифчик. Бегу по пустому спортзалу, звук шагов отскакивает эхом...

Теперь по коридору, мимо кабинета директора, в младшее крыло, где огромное зеркало, перед которым можно танцевать, если отменили урок, или прыгать по треугольникам на полу — играть в «классики». На стенах красные рыбки гуппи с хитрыми глазами. Прячутся в волнистых водорослях. Спрятались, выглядывают... И тут я понимаю, что одна в школе. А так ведь не бывает... Здесь должен быть хоть кто-то — и зачем я об этом вспомнила? Ведь теперь они появятся, а я так не хочу, уже слышен их смех, они надвигаются, ещё невидимые, они уже смотрят на меня...

Я просыпаюсь в мир. А они остаются внутри.

После того, как они два раза сбросили меня с лестницы, с разбегу столкнули с доской, на которой расписание (алгебра, два русских и ненавистная физкультура — мне в лицо), а на уроке биологии вычёсывала жвачки, выдирая из косы клочки волос, и появилась эта привычка... В каждом встречном видеть мальчишку, того самого, который держал дверь и не позволял уйти домой.

Иногда мне кажется, что мальчишка по-прежнему держит дверь. И не отпускает, хотя и школы нет, и мальчишке лет тридцать. А я всё иду и иду по коридору, тёмному и запутанному, обманчивому лабиринту. В младших классах нам запрещали ходить здесь, со старшеклассниками, оттого коридор, изгибающийся, полный незримых опасностей, снился мне по ночам. Но реальность оказалась другой: вместо чудовищ из темноты на меня кидались люди.

...Из класса высовывается здоровенный дедина, десятиклассник, с вечно пьяными, отёкшими голубыми глазами. Он чаще других называет меня Чечнёй. Меня всегда удивляло, что выглядит он взрослым, наверное, лет на двадцать.

— Чечняааа, — гнусаво тянет голубоглазый дедина. Его подопечные, мелкие пацаны, одо-

брительно смеются. Они окружают меня, как стая мелких рыбок окружает любопытное чудище. Колющие взгляды, колющие улыбки ощупывают, и я знаю, что будет дальше. Но об этом лучше не думать...

От стаи мелких подопечных отделяется один. Малой. Он с улицы, в спортивной куртке, шапка сдвинута и бесформенным мешком стоит на голове — всё как у нормальных пацанов. И лишь пакет с анимешной девочкой, сжатый в кулаке, смотрится нелепо, выдаёт что-то неуютное, интимное... Он вечно таскает с собой этот пакет. Я слышала, отец у Малого сильно пьёт.

— Ты чмо четырёхглазое. Где только таких делают, как ты? У кого на такое встанет? У собаки бешеной встанет! Да ты...

Он продолжает говорить, но смысл начинает ускользать. Оглушает хохот. Расплывается американская надпись на спортивной куртке. Рожу Малого наливается, словно созревает, и неровные красные пятна расплываются по щекам. Глазки смеются, такие маленькие, что их почти не видно на распухшей рожке.

«А ведь когда-нибудь у меня будет парень, — думаю, — он подойдёт и включит свой плеер у самого уха»...

Отчего плеер? В фильмах играет музыка на этом месте — такая, что всё сразу понятно. Значит, нужен маленький плеер, чтобы музыку включить и чтоб как в фильме. А я повернусь — удивлюсь: как ты догадался, какая у меня любимая песня?

Смех затихает, разбившись на смешки и смущённые улыбки. Что может означать только одно: пришёл кто-то из учителей.

И действительно, бледная, изящная Наталья Николаевна в тёмно-зелёном платье с открытыми плечами похожа на чопорную даму из исторического фильма. Подходит совсем близко и тихо спрашивает:

— Тебя никто тут не обижает?

Я отвечаю: «Нет», и мне почему-то становится перед ней неудобно. Ну не виновата же милая женщина в том, что я Чечня. «Нет» — единственный вариант ответа, а стучать не могу. Запрещает неписанный школьно-дворовый кодекс. Взрослым не понять, что значит быть верной коллективу, верной в качестве изгоя. У них нет пропуска в жестокий мир подростков. Не выдали. И не выдадут никогда, сколько бы ни пытались они приблизиться к этому миру...

Напротив женского туалета тусуются неразлучные Света, Настя и Юля. Такие одинаковые,

потому что модные. Пылинки кружатся в лучах солнца у окна, оседая на короткие бархатные юбки, омывающие бёдра. Проходя мимо них, можно закрыть глаза и ощутить, как нахлынет цветочная волна — запах дешёвой туалетной воды, и зальёт хохотом. Как я хочу быть среди них — влиться в ароматную девчачью стаю, стать смехом и запахом, волной весёлого бездумного моря! Оттого, когда молюсь, перед Богом стыдно: иные ведь заказывают удачно выйти замуж или все «пятёрки» за четверть. Я мечтаю быть среди них, что значит — бухать во дворе, в сигаретном дыму порхать от скамейки к скамейке, задевая подолом чьи-то колени... Господи, пусть они примут меня! Богу моя просьба не нравится, и он снова её не исполняет.

Фоткают на телефон новый маникюр, подставляя ногти в полосу солнца. У Светы вытянутые ногти-фисташки (щёлк-щёлк). Ноготки Юли похожи на крылья жуков, зелёные и блестящие (щёлк-щёлк), и кажется, пошевелит Юля пальцами — они застрекочут и улетят... У Насти ногти подстрижены и не покрашены даже, и она завистливо стоит в сторонке. Зато Настя играет на фортепиано.

— Приветик, — обращаюсь к Насте.

Не слышит. Знаю почти наверняка, только делает вид. Подхожу ближе, и она отворачивается, взгляд её блуждает, будто рассматривает что-то... А ведь недавно она была моей как бы подругой... Впрочем, понимаю её: дружить с Чечнёй опасно, Чечня заразна, будешь дружить — зараза и на тебя перейдёт, станешь как она, а хуже не бывает, не может быть, чур меня, чур!

Тихая Настя, находившаяся под Светкиным покровительством, в классе «новенькая». «Новеньких» нужно брать, пока не разобрались в жёсткой иерархии класса. Настя говорит: «Я вообще не понимаю, почему тебя обсирают». Краем уха я слышала, как Настя расспрашивала об этом девочек, и те спорили: одна рассказывала легенду, будто моё гонение началось с того, что однажды меня вырвало школьным завтраком на физкультуре, другая утверждала, будто в третьем классе я испортила воздух. Я не могла вспомнить ни то, ни другое.

Настя передала мне записку накануне урока труда, тайно, чтобы никто не знал о нашей связи:

«Не забудь, пожалуйста, сгущёнку.

Твоя подруга Настя».

Как я радовалась той записке! Настя назвала меня подругой, и я хранила записку до самого выпускного...

— Чечня, тебе правда не хочется одеться понарядней? — слышу за спиной. Светка обращается ко мне: — Они же обижают тебя. Но если бы ты старалась, ну, понимаешь...

Светка, крашенная блондинка в ажурной белой кофточке, под которой виднеется синее кружевное бельё, — из тех, кто «хочет давно помочь». Время от времени находят люди, которые проводят со мной разговоры, в надежде сделать меня «нормальной». Однажды после уроков Светка с двумя подружками заперли меня в классе. Объяснили, как стать «нормальной»: нужно сделать хвост вместо косы, которую мне заплетала мама по утрам, и надеть юбку покороче. «Если бы меня так обсирали, — взволнованно заверила Светка, — я бы давно изменилась». Особенно она напирала на то, что мне нужно изменить почерк — писать с наклоном не вправо, а по-модному, как у Светки, влево.

Девчонки не понимали главного. Я не могла ничего изменить. Даже если бы я сменила очки на линзы, если бы постригла и покрасила волосы, они, вечные безликие они, чьих имён я не запоминала, нашли бы, за что меня дразнить.

— Нельзя привязываться к вещам, — говорю я Светке. — Главное — душа.

— А? Кто тебе сказал эту глупость?

— Так говорит моя вера.

— Ты христианка, что ли?

— Да, — отвечаю. Пусть Светка отвяжется.

Вру, конечно. Можно было бы назвать мою веру христианством. Но это колдовство, это желание постичь тайны жизни... А потом я узнала, надо ходить в церковь, молиться и соблюдать пост, чтобы быть христианином. Я этого не делаю. Я только верю в то, что нужно прощать врагов — и тогда будут случаться чудесные вещи, несмотря ни на что.

После уроков жду маму во дворе, чтобы вместе поехать в поликлинику к окулисту... Мама любит таскать меня по поликлиникам, выискивая новые болезни, чтобы переживать. Если бы она знала, как ко мне относятся, ей всегда было бы из-за чего переживать. Вот только я не стукачка.

Кружит стая мальчишек: «Чечня, Чечня-чеченская!». Они исчезнут, когда мама выйдет, она и не заметит ничего... На них не обижаюсь. Эти обижать не хотят, только подражают старшим, — оттого, что Чечня в моде, — кричат беззлобно, весело. Притворяюсь, будто ловлю их. И у моего спектакля один-единственный зритель — древний дед на скамейке, странный человек, которого не видела в нашем дворе прежде...

Но дед на меня не смотрит. Он глядит не перед собой и не под ноги, а куда-то вдаль, будто видит запредельное, своё. Глубокие красно-бурые борозды-морщины изрезали вдоль и поперёк продолговатое лицо. Когда он прикрывает глаза, кажется, будто он, покачивая плешивой головой, слушает бесконечную мелодию своей жизни в невидимых наушниках. Дед то улыбается, то хмурится, причмокивая сухим ртом. И песня, которая внутри, интересней и содержательней многих современных хитов.

Когда пацаны убегают, дед подзывает меня. «Не смотрел, но всё видел», — догадываюсь сразу.

— Да-да, ты, иди-ка сюда, — сказал дед.

Подхожу к нему, и он придвигает меня к себе так близко, что слышу шумное старческое дыхание. От него пахнет гнилью. Его рот, кажется, застыл в гримасе недовольства, но светлые глаза, полные жёлтоватой влаги, улыбаются... Подзреваю, его взгляд в никуда не романтическое свойство, а старческая болезнь. Он не глядит на меня, продолжая смотреть вдаль, мимо...

Мне становится страшно. Я уверена, он сейчас начнёт меня упрекать; скажет, что не умею постоять за себя... Но говорит он другое:

— Ты, Чечня, не слушай их. Запомни: такие, как ты, идут далеко... Кто они будут, как вырастут? Бандиты! А ты учись, учись, небось, хорошо учишься. Да они у тебя в ногах валяются будут. Знавал я такого, как ты... смеялись над ним, ещё похлеще твоих, да где они теперь? Тю-тю, нету! А он — доктор Кембриджского университета! Во как. Слушай старого деда, Чечня.

Не понимаю, отчего сумасшедший дед проносит мою кличку как имя. От этого мне хочется расплакаться, но плакать стыдно. И я покорно жду окончания дедовой тирады... Внутри меня что-то кружится, перемешивается, ломается, и я боюсь, что кто-нибудь услышит наш разговор. И вместе с тем хочу, чтобы дед говорил. И хочу, чтобы сказанное дедом сбылось...

Прибегает мама, осыпает вопросами: «Ты не замёрзла? Полис взяла? Ты поела?». Сама не знаю, что отвечаю, не слышу себя, да, мам, да... Ах, как бы не расплескать его слова, «такие, как ты, идут далеко», только правда ли это? Если бы мне каждый день говорили... Было бы легче, гораздо легче! Но слова деда потухнут, расплещутся, развеются, потому что во мне, помимо моей воли, звенят другие слова: «Ты чмо четырёхглазое. Где только таких де-

лают, как ты? У кого на такое встанет? У собаки бешеной...».

В лицо мне летит снег. Крупные снежные хлопья бьются о стёкла очков, и кажется, белые птицы ударяют крыльями и падают. Мне не приходится закрываться от снега, как тем, кто без очков. Снежинки облепляют волосы, выбившиеся из-под берета. Спускаюсь в переход, стёкла очков запотевают, и я ничего не вижу, бреду в тумане, натываюсь на мокрых людей. Снежинки тают в волосах, я слизываю их, безвкусное мороженое. Наверно, глупо и вредно. Но мне нравится облизывать снег.

Вечером мы с мамой едем в замёрзшей маршрутке, и кажется, мы в бункере. Мы не знаем, где едем, и не можем посмотреть. Прокковыряю пальцем лёд на окне, отковыряю кусочек тьмы. И кажется, никто не знает, когда наша остановка. Маркса... Все выходят на Маркса... Окошечко являет тьму.

Снег идёт и на следующий день, будто бы природа решила сделать людей снежно-одинаковыми, бесцветно-белыми, успокоить Новосибирск под снегом. Город спокойствия, задуманный богом для того, чтобы пережить конец света. Здесь не бывает сильных землетрясений и наводнений, а страны — соперницы нашей Родины так далеко, да и никто там о нас не думает. Но Новосибирск достаточно велик, чтобы развиваться в нём, учиться и работать.

Я сижу в классе наедине с психологом и всё гляжу в окно. Мне надо бы смотреть на неё, чтобы ей казалось, что я её слышу... Но снежинки падают мохнатыми гроздьями, и мне хочется глядеть на снегопад и ни о чём не думать.

— Сколько тебе нужно друзей, чтобы почувствовать себя лучше? — приветливым голосом спрашивает психолог. Она проходит практику в нашей школе и сама выглядит как школьница аккуратное каре и воротничок. Наталья Николаевна сказала мне и несколькими одноклассникам: «Тесты показали, что вы отличаетесь, вы особенные, и психолог будет с вами разговаривать». Светка обиделась: «А я что, не особенная?». Так и хотелось сказать ей: «Дурочка ты, это ж такая дипломатия: нам говорят „особенные“, вместо „ненормальные“, только и всего». Заслали к нам милого психолога, из хороших девочек, всеобщих любимиц. Занялась психологией то ли оттого, что «хотела помогать людям», то ли оттого, что смотрела Курпатова.

— Так сколько тебе нужно друзей, чтобы почувствовать себя лучше? — повторяет психолог с обиженной интонацией.

Наверное, она видит в моих глазах только снег.

— Один. Достаточно одного...

Говорю, будто кричу. В конце концов, один, только один, неужели так сложно этому миру выделить мне всего одного человека? Если мир слишком плох, один человек вполне способен заменить его...

Мне нужно найти его. Одного человека...

Тучи иссякают, в них заканчивается снег. Конечно, психолог не поможет. Но скоро выпускной, а после выпускного — сразу будущее.

Под конец одиннадцатого класса от меня отстали. Совсем. Итоговые контрольные и экзамены, выбор университета отвлекали; час прощания приближался, сердца размягчались, все стали ближе и будто бы дружнее, чем прежде. И меня приняли в стаю, вернее... Они будто обозначили моё место: «И эта с нами... ладно, пусть так».

На выпускном одна я не плакала. Девчонки в шёлковых платьях размазывали тушь, парни на жаре скидывали праздничные пиджаки и расстёгивали пуговицы на рубашках и пили, не прячась уже от родителей и учителей. Малой снял футболку и пропеллером вертел над головой, выражая то ли протест, то ли радость. В сторонке обнимались злейшие враги — кланы девок, чихвостящие друг друга за глаза. Кто-то признавался в любви, забившись в угол, бессмысленно и отчаянно, как перед концом света. Мне не было до них дела... Обидным казалось то, что меня не трогает этот праздник. В розовом платье, сшитом по образу наряда Барби, под обстрелом лопающихся шариков я сидела в стороне от всех. Мной овладевала сухая бесслёзная печаль, печаль о том, что никакой печали нет.

Я всегда ненавидела конкурсы, созданные будто бы для того, чтобы вытащить наружу мою «чеченскую» сущность — забитость. Зажать шарик между ног и прыгать с ним до горшка на стуле. Положить шарик в горшок, сесть — лопнуть попой. Закричать в сторону родителей: «Мама, я всё!». И девчонки подгибали платья, прыгали на каблуках, кто-то даже на шпильках. После этого конкурса все почему-то растрогались... «Надо собраться как-нибудь! Мы будем регулярно встречаться!». Тогда я встала и честно сказала им:

— Ни фиги. Не будем. А если встретимся... это будет ненужная встреча.

Кажется, они обиделись... Но зачем они обманывают себя?

Преодоление

ПОДОБНО МНОГИМ женщинам я приятно заблуждалась, полагая, что ищу себе парня. Женщина может думать, что она ищет мужчину. Но она ищет себя, ту самую, недостающую себя. Я искала свою вторую половинку — свою смелость и дерзость. Того, кто спустится со мной в царство теней, в Аид, где обитают мои страхи.

Помню тот вечер... Выйдя из дома, я поверила — заставила себя поверить, — что эта осенняя дорога, освещённая бледным холодным солнцем, и есть дорога моей жизни. С витрин салонов красоты на меня презрительно глядели модели: «Заходи, детка, за нашу сойдёшь». Я выбрала из них наиболее дружелюбную. А потом продала своё тело, расчётливо, как иные продают душу дьяволу.

Провалилась в мягкое кресло. В приглушённом свете мерцали зеркала и пестрели фотографии звёздных див с экзотическими причёсками. Никогда не понимала, зачем эти фотографии: ведь парикмахер вряд ли будет накручивать волосы на длинную позолоченную палочку, вить на голове гнёзда и строить пирамиды, как показано на картинках.

«Ну вот и всё, — подумалось мне. — Никто теперь не назовёт меня Чечней...»

С плеском опрокинуть голову назад, в подогретую воду...

«...и не толкнёт... не ударит...»

Поначалу непривычно больно каждый день. Когда выщипываю брови пинцетом, когда бритва ранит ноги до крови, когда в кожу впивается лечебная маска. Когда живот зудит от голода, потому что срочно надо похудеть. Красота — это больно.

Понимаю: для женщины одежда — доспехи и оружие. Чем тоньше, облегающей, тем надёжней. Острые продолговатые серьги — два клинка. Зелёная тонкая ткань обхватывает грудь и талию, сдавливает дыхание при ходьбе. И улыбка. Без улыбки никакое платье не подействует.

Первые полгода шли как полагается. Я даже усвоила правила игры с парнями, и оттого стала с виду нормальной.

Нужно медлить, ждать, терпеть. Как однажды в родовых муках, так и ежедневно женщина обречена терпеть. Хлопнуть себя по руке, что тянется к телефону, чтобы набрать номер того симпатичного... Стёрла его телефон, чтоб соблазна не было. А трубку брала, считая гудки... Разве может женщина брать трубку с первого

гудка? А ещё лучше — «абонент временно недо-ступен» и потому желанен. Или так: «Извини, я занята»... Чем? Сам решай, уж ты-то понял, чем я могу быть занята в такой солнечный, рас-полагающий к приятным знакомствам день.

Потом нужно красиво изгибаться (а ведь не все умеют!), показывая самые женские части своего тела. Как изгибаться? Этого не объяс-нишь. Только природа может подсказать, как выгибаться. Внутри встроен выгибательный ме-ханизм, эдакая внутренняя кошечка. Механизм срабатывает, когда кто-то нравится.

Я не умела красиво говорить, потому играла глазами. Прищуривалась и рассматривала по-нравившегося мужчину, как дотошный иссле-дователь глядит на изучаемый объект. Мужчи-нам почему-то нравилось такое отношение. То, что я молчала, придавало загадочности. И когда «загадочность» замечали, старалась молчать глубже и выразительней. Становилась поти-хоньку актрисой. Как мама.

Вскоре я обнаружила, что привлечь како-го-нибудь мужчину нетрудно, какой-нибудь всегда на страже, всегда готов... Достаточно улыбаться в обтягивающем коротком платье. Не впасть в ересь моды — с её глупыми прави-лами и причудливыми рюшечками, а просто по-казать мужчине себя и своё желание... И ка-кой-нибудь придёт. Только нужен ли он бу-дет — какой-нибудь?

Иногда мне снился мой будущий муж: тол-стый, обрюзгший, скучный. У него жирное ро-зовое лицо, во сне неясное и расплывчатое — от-ражение в мутной, подёрнутой рябью воде. Мой муж похож на Малого. Когда я вижу его, то не знаю даже, что с ним можно делать... Но сим-патичного мужа Чечня не заслуживает, наверное... Мне становилось страшно от таких снов.

Некрасивые люди

ОНИ НЕ ХОТЕЛИ меня отпускать. Их устраи-вало, что я такая Чечня, а они на моём фоне кра-савицы. Им это нравилось. А я хотела вырваться и каждый день с упорством разорившейся проститутки отправлялась гулять по горячей, затопленной солнцем аллее в коротком отчаян-но-синем платье, синий — светофор-тупик, дальше некуда. Надо мной качались деревья, за-душенные новогодними гирляндами, кривые, погубленные. И я ловила, я вдыхала любое вни-мание — глоток воздуха в безвоздушном космо-се одиночества...

— Эй, девушка, девушка! Идите сюда, де-вушка!

Я подошла, они засмеялись. Таких некраси-вых людей я ещё не видела. Более всего осталь-ного меня поразили их зубы, кривые и гнилые, но улыбались они открыто, не стесняясь кри-возубых улыбок.

— Пойдите с нами, девушка, давайте знако-миться.

— Вы играете на гитаре? О, и я хочу, хочу на-учиться играть!

— Научим, — парни оживились.

К парням прилепился местный алкаш, кото-рого они называли Тимофеичем. Они посмеива-лись над ним, но любили. Он носил с собой ма-ленькую тряпочку, брызгал её одеколоном и протирал скамейку.

— Гляди, гляди! Мужик место себе готовит. Ух, мужик!

Алкаш усаживался — вернее сказать, усажи-вал свой большой живот, уверенно и торже-ственно. Сидя на бордюре, я разглядывала вмя-тины на лысом черепе, похоже, его голова по-терпела аварию. Его майка сияла белым пятном в заплёванном дворе — и по необъяснимым при-чинам всегда оставалась чистой.

— Тимофеич, сгоняй за пивом! — кричал кто-то из пацанов, и Тимофеич медленно поднимал-ся и шёл, будто бы был им чем-то обязан. Потом он возвращался, пил больше всех, пьянел и рас-сказывал бредни.

Мне нравились рассказы Тимофеича.

— Знаете, почему страна была моя, а те-перь — чужая?

— Почему, Тимофеич?

— Потому что в поездах не было этих биотуа-летов американских. Были нормальные. Ссали в землю, на шпалы. Еду я, значит, в команди-ровку в Москву. В Сибири — поссал, за Ура-лом — поссал... В Екатеринбурге — поссал! В Ярославле златоглавом, древнем, великом — и там поссал! И так на всех перегонах. Пометил территорию, как собачка, оно и понятно, вся страна мне принадлежит. Штас, вон, био-шмио, чисто всё... А страна-то стерильная, чужая!

— А ты с самолета, Тимофеич! Чтоб сразу не-сколько городов охватить!

Заржали, а Тимофеич смущенно заулыбался.

— Правда же она красивая? — спросил один из пацанов, ткнув в меня.

— Не ду-у-маю, — лениво отозвался другой.

— Да лан, ничё так тёлка.

Пацан потрогал мои волосы, тихо прогово-рил: «Мягче, чем у Светки», и оглядел меня, как

рассматривают лошадь, которую собираются купить. Пацаны, не стесняясь, обсуждали меня, разглядывали, измеряли взглядами, тянули руки... Тогда мне это казалось диким. Этого ли я хотела? На мгновение представила себя со стороны... Как видит меня... да вот хоть эта женщина, выходящая с ребенком из подъезда. «Шпана. И шалава какая-то с ними...» Неужели именно этого я хотела?

...А почему бы и нет.

Господи, как мне хотелось, чтобы меня приняли они — грубые, непонятные, пьяные!

В седьмом классе, когда я за последней партой делала вид, что читаю учебник, они сбегали с уроков, чтобы ширнуться где-нибудь в подъезде, зажать девчонку, а девчонка уже гордилась своим «опытом», носила в себе взрослое знание, что так нелегко дается...

... — Эй, девушка!

Тимофеич выкатил на середину улицы огромное пузо и припарковал его между «нисаном» и «ладой».

— Пойдем со мной. До дома провожу. Где ты живешь? Там?

— Куда? Не хочу, хочу к ребятам!

— Не надо тебе... к ним, — сказал Тимофеич. Он смотрел на меня замученным взглядом, будто умолял о чём-то... — Попросили меня выпроводить тебя. Понимаешь? Ну хоть что-то ты должна понимать в этой жизни?

Мне стало обидно. Неужели я не понимаю вообще ничего...

Тренинг

Я ПО-ПРЕЖНЕМУ жду, когда же в универе надо мной начнут смеяться. Ожидаю втайне, не признаюсь. Заглядываю в глаза, пытаюсь разглядеть заговор, вслушиваюсь и, кажется, улавливаю фальшь... Играю в «нормальную девчонку». Они вроде бы верят. Не угадывают во мне Чечню. Неужели притворяются? Чтобы было не так страшно выдать себя, я болтаю с воображаемым другом Богданом на парах, конечно, в уме и, надеюсь, незаметно для остальных. Богдан живёт в колпачке от ручки, чтоб удобно с собой носить.

Я поступила на психологию. Не для того, чтобы помогать людям... Просто мне показалось, психология — это наука о чудесах. Психологи говорят, что даже некрасивая девушка может найти парня, если полюбит себя и предпри-

мет определённые, предписанные наукой действия. Правда здорово? Они обещают, что достичь счастья можно... Достаточно лишь соблюдать правила.

Увы, на первом курсе — одна теория. Мне хочется поскорее что-нибудь сделать, чего-нибудь добиться, достичь. Я жажду практики. Потому-то и поехала на «тренинги». Вот спросите меня — что это? Да я и сама не знаю, что это... Но практика будет, может, научусь работать с людьми, но главное не это! Важно, что здесь, на тренингах, много парней.

Поехала я именно из-за них.

В детстве я влюблялась в женщин.

Из-за одного детского заблуждения избегала мужчин. Я думала, дети появляются от любви. Об этом пелось во всех песнях! Казалось, стоит влюбиться — и появится ребёнок.

Мой папа был экстрасенсом, а мой мир — зыбким сплетением теней и духов. И мы с папой смеялись над материалистами, которые пугались нашего мира, нашего дома. В том мистическом мире легко было допустить, что дети появляются от любви, что влюблённость пробуждает в женщине силы, и в её животе начинает произрастать что-то бесформенное, и оно становится человеком.

Тогда я стала бояться любви. Я сама ещё ребёнок. Мне не нужны дети. Не дай бог влюбиться. Вырасту — влюблюсь обязательно. А пока... Нельзя.

Детская логика пошла дальше. Ясно, что мужчин любить нельзя. Тогда я стала любить женщин. С чего я взяла, что от двух женщин детей не бывает? Чувствовала. Я перенесла на них своё влечение, чтобы влюбляться безопасно, без последствий...

Моей первой любовью стала прекрасная учительница по биологии, стройная и гибкая, как пантера. Когда я видела её у доски в обтягивающей светло-серой юбке, в голову лезла чушь. Возможно, то были стихи о настоящей любви — дрянное собрание штампов со всего человечества. «Глаза голубые, как небо, а улыбка — солнце, я хочу жить с ней в одной комнате, смотреть сквозь одно стекло...» Я думаю, что светлая, истинная любовь (а у меня была, я уверена, такая) не совместна с глубокими раздумьями, она — песня на трёх аккордах, птичье чириканье, стишок с простецкой рифмой. Искусство создаётся, когда любовь заканчивается и появляется необходимость что-то объяснить, дописать не-

достающее. Я влюблялась в девочек со светлыми волосами и с весёлым нравом, девочек-песенок, припевочек.

Потом стала понимать, что для детей нужен ещё и секс. Затем — что секса вполне достаточно. Правда, к последней мысли приближалась долго...

Но и когда приблизилась, в глубине души осталась верна детским представлениям. И, знаете, для меня нет проблем, какая у меня «ориентация». Мужчину я люблю или женщину... Всё измеряется по-детски — любовью. Той самой, примитивной, человеческой любовью.

Поняла, что безопасно влюбляться в мужчин, — немного позднее, чем «Деда Мороза не существует».

Я вырвалась в яркое лето... Такого лета больше не случилось в моей жизни.

...Мы живём в домиках, в лагере, оставшемся с советских времён. Мне кажется, все детские лагеря — такие. На полу букеты с серпом и молотом, в столовую мы идем по талончикам, которые, кажется, лежали на складе с советских времён — пожелтевшие, выцветшие, едва разберёшь на них слово «обед».

С девяти до часу мы учимся, потом отдыхаем, едим, снова учимся... Ходим к морю, здесь Обское море недалеко, на берегу его стоят заброшенные корабли. Странно учиться, а потом спускаться к морю, я так привыкла, что море бывает только на каникулах, — а здесь учусь, и сразу море. Несопоставимое с реальностью море, как во сне. Ночью выхожу на берег и топчусь на плотном влажном песке, пока не замерзают ноги, а над морем висит луна красного цвета. Если луна бывает красной, то, может быть, и меня кто-нибудь полюбит?

Бегу в лес, усыпанный светлячками, от которых исходит слабое, призрачное свечение. Деревья шелестят, мерцают, как будто Новый год, и хочется идти дальше и дальше... Но нужно быть осторожнее. Если зайду глубже, куда не достаёт свет лагерного фонаря, — потеряюсь. Ловлю светлячка, ожидая, что маленький жучок погаснет и выпорхнет. И здесь сюрприз! На моей ладони не жучок, а червяк. В сказках были жучки-светлячки, а светящихся червей не было. Ещё одно чудо на моём счету.

...На тренинге много парней, и я тщеславно считаю, сколько из них обратили на меня внимание. Шесть.

Ну-ну, пустите козла в огород.

Я им всем улыбаюсь. Уже научилась не говорить «нет», если можно сказать «может быть»...

А ещё я гуляю с Сашей. Саша — программист. Саша и разговаривает как программист — в нос, будто бубнит в банку, приставленную ко рту. Может, программисты бессознательно подражают голосу своего лучшего друга компьютера? Мой Саша — электронный.

Мы уходим в поле, в непостижимое поле, где горизонт — настоящий, округлая линия Земли, и проливается закат, не сдерживаемый ничем, красный, огромный, заливают все небо. В поле затеваю с Сашей игру, в нее меня научил играть папа, и я играла в нее потом со всеми близкими мужчинами. Мы разглядываем облака, разгадываем их...

— Это облако похоже на Мясню, которая ест огромный бутерброд!

— Я вижу девушку, вон там! С волосами такими дли-и-инными...

— Ага... А вон то облако — Пегас! Видишь, у него верблюжья голова?

— Что прямо между двумя маленькими?

— Да... Смотри! Твоя девушка превращается в ведьму...

Лицо девушки искореживается, плывёт, к нему припарковывается маленькое облачко — козявый носик ведьмы. Наш разговор продолжается и продолжается, мы глядим на изменяющийся мир облаков, мы творим его сами, находим новые и новые образы... Нам ничего не нужно, чтобы интересно проводить время: ни фильмов, ни книг, ни приключений. Только небо и фантазия. Саша целует меня в щеку, и, вместо того чтобы целоваться с ним, я прыгаю ему на шею и повисаю, как маленькая девочка!

— Какая ты все-таки клёвая, — говорит Саша.

«И жить бы с тобой, и умереть бы с тобой, играя в эту дурацкую детскую игру...»

Я знаю, что после окончания тренингов мы свернём небо, как скатерть после праздника. Саша уедет в свой город и, может, научит какую-нибудь другую милую девочку играть в облака.

Я не умею выбирать людей. Кого встречу, с тем и дружу. На тренинге познакомилась с двумя женщинами, пятидесятилетними подружками. Хотя теперь понимаю... Надо было бежать, бежать от их общения! Ещё тогда, когда я впервые заметила Танины блондинистые волосы, неудачно оттенявшие коричневую дряблую кожу. Рядом сидела низенькая Вера с веч-

но сжатыми губами, серьёзная, она находилась под сенью здоровенной Тани, Татьяны, щедро кидающей длинные руки в выразительных жестах.

— А где ты учишься? — спросила Таня со вниманием.

Я рассказала. Таня заманивала меня в лобушку. Слушала, склонив голову, — привычный интерес профессионального психотерапевта. Но я, наивная, верила, что у неё, пятидесятилетней женщины, могут быть со мной общие интересы.

Правда, разговор с ними складывался занимательный. Мы говорили о психологии — на первом курсе я уже кое-что знала, а сколько я ждала от науки о чудесах! Таня и Вера заканчивали второе высшее, и мне было что спросить у них.

Таня рассказала местное предание о том, как один психотерапевт отправился в цыганский табор — хотел сразиться, кто кого загипнотизирует. Друзья-психологи ждали вестей с фронта, держали за него кулачки. Прошло три дня, и психотерапевт объявился, говорил скудно и сбивчиво... И вообще складывалось впечатление, что он только проснулся. Описывал каких-то серебряных птиц, какие-то сады и изгибающиеся фонари... Только пустой кошелек служил намёком на то, что его обокрали.

Я говорила о тестах творческих способностей, почему-то тема творчества меня волновала. Вот тест Торренса, к примеру, — редкостная чушь. Дается тебе загогулина, и тебе надо ее дорисовать, чтобы получилась внятная картинка. И как считаются баллы. Снаружи пририсовал — 0 баллов, внутри — 1 балл, снаружи и внутри — 2 балла.

А если я концептуалист и не нарисую ничего? Напишу: «Вопрос без ответа и есть ответ».

Или я абстракционист, а нарисую нечто такое, что психологам не понять, а оценят лишь потомки?

А может, я настолько творческая, что изрису стол... И пол, и стены, и весь кабинет — оставлю нетронутым лишь листик с заданием?

Таня сказала: «Да, я понимаю твои чувства. Но обычно так не делают...».

И вообще... Таня, Вера, психология вас не испортила? Вам не страшно, что психологи пугающе нормальны? Они знают правила и живут по ним. Им не заглянуть в первородную бездну...

— Да не волнуйся ты, — сказала Таня, наклонив голову, как внимательный терапевт. — Есть

мнение, что в психологию идут за решением личных проблем. И кто их разрешил, из психологии уходят.

Вон из психологии, Вера и Таня! Я надеюсь, вы разрешили все проблемы и попали в какую-нибудь свою нирвану (нирвана стареющей бабы: чай, телевизор, любящий муж). Ещё тогда мне нужно было насторожиться. Когда я увидела, как вы поёте о своей боли, как вы распеваете её...

Тогда я была в паре с лохматым Андреем, который почему-то думал, что он волк, и носил готическую футболку с волчьей пастью. Взмахивал спутанной шевелюрой и крался по лагерю, пригнувшись и оглядываясь.

Нам дали задание кричать — выкрикивать злость и петь печаль.

Ушли подальше, в лес, чтобы не мешать участникам криками, нашли полянку. Андрей был первым, а я должна была его подстраховывать.

Он глянул куда-то ввысь невидящими глазами и... завыл. Андрей встал на четвереньки, чем меня напугал, хотя я знала, конечно, что он волк. Но я-то надеялась, он шутит... Он выл, прикрывая глаза, будто бы дремал, и дышал тяжело и часто, затем взглянул на меня... Я отпрянула. Увидела, как густые черные брови сходятся посредине и нечеловеческие глаза с огромными зрачками глядят на меня, а может, мне показалось, что они такие огромные...

— Выведи меня... — тихо проговорил он.

Но я стояла и не могла пошевелиться. Андрей выл, закатив глаза, и я не могла понять, плохо ему или хорошо и как мне надо его «выводить». Заунывный вой, приятный и щемящий, как песня, пой, одинокий волк!

— Выведи... Выведи меня! — закричал Андрей и начал бить себя по щекам.

Я испугалась. Толкнула его. Потом ударила по лицу. Ещё. Ещё. Я била его от испуга... Я впервые в жизни била парня!

— Ещё немного... и я бы не вернулся!

Андрей глядел на меня с испуганным укором.

Был у нас один, который не вернулся. Ночью шатался по коридорам и выл возле моей комнаты. Во сне мне чудилось, будто дверь приоткрывается и сквозняк заносит сумасшедшего ко мне, и вот он у моей кровати...

Тренеры успокаивали:

— Всё нормально. Он просто ушёл в другой мир, когда остановил внутренний диалог.

«Ничё себе, нормально!» — возмутились участники.

А потом я подслушала разговор тренеров в столовой. Они говорили:

— Вообще-то многие, кто тренировки посещает, мечтают попасть туда... Туда, где он сейчас. Этого и добиваются — оказаться по ту сторону, любовью человек хочет туда, прочь от своего ума, рациональности, назад, в глубину...

И я закричала... Сдавленно, а потом вдруг свободно, лишь на мгновение, но я успела увидеть. Вспышка! Цвета вдруг сделались яркими, зелёная крона берёз вспыхнула надо мной, в листе промелькнули кусочки неба — ярко-голубые ранения...

И я вспомнила. Мир когда-то был таким. Ярким. Он был таким до того, как они стали надо мной смеяться, был таким несколько лет моей жизни — мир, который хочется обнять.

Тяжёлая крышка откинулась и показала свежий мир на мгновение, я вдохнула его... И крышка — захлопнулась.

Мы шли молча. Вернулись в зал, где обычно проходили занятия, и застали Таню и Веру, vyplнявших упражнение.

— А-а-а-ааа... — пели они.

Меня в тот миг их пение возмутило. Почему они не кричат и не воют, а тихонечко тянут, как в церковном хоре? Как им не стыдно не иметь собственного страдания! Мысль странная, логически не обоснованная... Но они обе показались мне фальшивыми и ненастоящими, мои пятидесятилетние подружки!

— Я почувствовала что-то, — заметила Таня. — Здесь, — показала себе на грудь.

— А чё так тихо-то? Пе-е-енсию не выдали, — пошутил Андрей.

Я расхохоталась над шуткой про пенсию, и мне показалось, что Таня и Вера заметили мой смех и взглянули злобно...

Крик разбудил лавину.

Пришла к морю и села на бревно, зарыла ноги в сырой песок, омываемый волнами. Над морем сверкали молнии, они отражались, и море переливалось голубыми всполохами. Вдыхала прохладный воздух и чувствовала, как он проникает в меня, как разгоняет он мои мысли, падающие камнями с горы, обрушивающиеся на меня без предупреждения...

Странно... Каждую ночь мне снится один и тот же сон. Только летом, именно в июле, а зимой не снится... Будто я выхожу замуж, в белом платье иду по зелёному коридору, но не могу разглядеть лицо жениха, хотя очень хочется...

Снова молния — озарение, вижу со стороны, будто кино смотрю. Лето, дача, девчачье платьице на загорелом теле, пахнущем горячим песком, звенящий умывальник, бабочки на гвоздиках садятся одна на другую — пирамида трепещущих капустниц. Мама говорит, что бабочки так играют. Потом дура узнает, что капустницы на гвоздике размножаются, она сама поймет, додумается в один день и возненавидит этих вредителей на целое лето! Но пока бабочки прекрасны, и из срубленной березы сочится сок. «Березовый сок, его можно пить», — говорят взрослые, а дура думает: «Сок из березы, удивительно», но ей жаль березу, с нее падали светло-зеленые гусеницы с щекочущими лапками, цепляющими кожу, дура пыталась кормить их листьями, а они не ели... Почему, ведь в природе они едят листья! А если посадить гусеницу в банку, получится куколка, а потом бабочка? Дура читала, что бабочка вылупляется из куколки рано утром, пока все спят, наверное, чтобы никто не видел. Это ведь... тайна. Этих тайн в природе — «до хрена», как взрослые говорят. И все-таки жаль березу, она была такой высокой, будто пальма, ни за что не дотянуться, и там, в вышине, откуда падали гусеницы, а иногда паучки, что-то происходило... Тайна. Мама говорит, она давала тень, для огорода плохо... Пришлось срубить, и теперь сочится этот странный липкий прозрачный сок, дура не знает, хочет ли его попробовать. Она попробует его, когда станет взрослой: купит пластиковую бутылку с надписью: «Березовый сок», но то будет не тот сок... Дура разочаруется.

И вот когда срубили березу, тогда-то и появились соседские мальчишки, которые воруют малину. Они кричали: «Дура, Дура!», но только когда мама не видела, а так они прятались за домом, выжидали. Заметили дуру, которая качалась на качелях из досок, выкрашенных голубой облупленной краской, которую так приятно трогать, сдирать, хрустеть ею. Мальчишки пришли, пока мама и папа ходили в деревню за молоком. Дура вырастет, и молока больше не будет, потому что в деревне никто не захочет держать коров, но до того пройдет вечность.

— Как тебя зовут? Пойдем, у нас дома конфеты. Канарейку покажем и наших рыб.

Камера приближается. Я слишком хорошо помню, я не в силах сопротивляться и оказываюсь там, чувствую даже, как щекочет ноздри травяной запах и давят камушки в босоножках, иду по зеленому гороховому коридору, с обеих сторон — стены из вьющегося гороха, выше роста, удивительно! Мы идём бесконечно долго и выходим на огромную поляну к рыбам и канарейке. Сначала я не замечаю рыб. Рыбы плавают в бассейне — серебристые стрелы мечутся туда-сюда, изредка с плеском показывается серый хвост, но самих рыб все равно не видно. Мальчишки говорят, что иногда они вылавливают рыб и жарят. Мне их жалко...

— Хочешь увидеть, какие они? Сегодня поймали.

— Спасибо, не хочу. Простите, но я б не стала жарить своих рыб, — отвечаю. Мама приучила к вежливости.

Звенит колокольчик. Оборачиваюсь: на крыльце в клетке прыгает жёлтая канарейка, вертлявая тварь. Она бьёт в колокольчик тонким клювом: диннь! диннь! Бьёт упорно, настырная!

— Пойдём к нам...

В маленькой влажной комнате стены из брёвен, на столе разбросаны газеты, на потолке разводы, и один из них напоминает пятно на лысине Горбачёва, и я смотрю на него, смотрю, в потолок — как в телевизор. А дальше...

Не помню, что дальше.

Моё подсознание знает: нельзя, чтобы мальчишки трогали так до свадьбы. Нельзя так делать без свадьбы... Надо выйти замуж в белом платье, в природе много тайн и разлита нежность, белая нежность — она для вечности, для бесконечного воспроизводства подобных себе... И потому это платье, похожее на трепещущие крылья капустниц, на душистую лилию, сияющую в ночи, будто сшитую из белого бархата... Оно пахнет деревенским молоком. И что-то рвется внутри меня, и вместо крови течет из меня нежность, берёзовый сок, весенний, чистый...

Я открываю глаза и вижу Веру.

— Пойдём к нам, — говорит Вера непривычным голосом — непривычным, потому что говорит она редко. Я гляжу на её худую фигуру, сгорбленные плечи, мешки под глазами. «Неживая», — проносится в голове. «Её прислала Таня». И мне совсем, совсем не хочется идти,

хотя ноги уже подмерзают, дождь накрапывает, и пора возвращаться...

Не хочется, но почему-то я иду.

Они ведь тоже говорили: «Пойдём к нам». Но какая связь может быть между изнасилованием дуры и Верой?

— Промокли? — Таня задаёт дежурный вопрос. Если бы это не было невежливо, я бы её послала. У меня вдруг начинает болеть голова, будто что-то тяжёлое давит, и так не хочется, неохота...

— Я давно хочу помочь тебе...

— Правда?

Они насиловали меня два часа. Психологически. Они учили меня жизни, говорили, что давно хотят помочь, расхваливали, будто я нуждаюсь в их похвале. У меня красивые волосы, когда я распустила хвост, все прям ахнули, но я же вижу, как ко мне относятся, что они смеются, смеются надо мной, обсуждают меня, но это ничего, не переживай... Главное — высокий рост, «если б у меня была такая фигура, знаешь, что бы я сделала, как бы я воспользовалась своей фигурой?» — спрашивает маленькая Вера.

Силюсь, растягиваю губы в улыбке. Слушаю с ученическим вниманием, как на уроке. Их слова падают на меня, падают, и раскалывается закатное небо, разваливается Масяня с её бутербродом, Пегас с верблюжьей головой убегает от меня, и все мои облакоконы, облакослоны и облакозайцы теряют обличья. Не любит меня никто! Таня и Вера говорят уверенно, против них не попрёшь, они разгадали меня... Я, Чечня, хочу быть как надо — красивой, смелой, общительной. Но я не могу...

Они показывают мне свои цветные порошки, пудры, тени, трясут своими щётками, заглядывая в глаза. И я не замечаю, как я уже сижу у окна и меня красят. Неужели закат не считается, неужели те шестеро парней, которых я считала, не проявляли симпатии, а... посмеялись? Ведь невозможно знать наверняка, смеются они или нет. Вдруг Таня и Вера говорят правду, которую я не хочу видеть?

Они накрасили меня превосходно; девочки были в восторге, говорили потом: «Ты накрасься, как тогда» (думали, я сама накрасилась). Их комплименты воспринимала как оскорбления.

В последний день над нами пролетела стая чёрных птиц. Они летели минут десять и всё не кончались. Будто кто-то вылил птиц в небо, и они утекали... Я стояла и смотрела. Чёрные

птицы шумно текли по небу. А потом птицы кончились, настала ночь, и было так спокойно, будто птицы унесли что-то плохое, чёрное. Я заснула и не видела снов.

«Дорогие Таня и Вера!

Пишет вам... с летнего тренинга. Помните меня? ;)

Вы учитесь на психолога! Значит, кому, как не вам, понять меня?!

Но для начала расскажу, как это произошло — из моей карты (которая, как известно, не территория). :)

Однажды я заметила, что Таня хочет со мной познакомиться, проявляет интерес, заговаривает со мной. „Она тоже учится на психолога, — подумала я. — И поэтому общается со мной — общие интересы“. Но потом — не помню, как это случилось, но я очутилась в вашей комнате. Вы говорили мне следующее: „У тебя есть мальчик? Нет? А можешь представить его где-нибудь здесь, в пространстве? — проводила с ходу терапию Таня. — Ты должна стать охотницей, должна привлечь мальчика, чтоб он захотел, чтобы именно эта девочка была девочкой его! Знаешь... иногда достаточно подкрасить глаза — совсем другой облик! У тебя ведь много «плюсов»: рост, волосы...“ Ну, Таня берет в руки свои волшебные инструменты — и мои глазки заискрились от продуманного макияжа, девочкам понравилось... К чёрту!

Знаете, в тот день я рыдала. Я сбежала с занятий. Я кинулась в номер, упала на кровать...

Я никому и не рассказала о своих переживаниях, ни маме, ни друзьям. Пошла умыться, кто-то из ребят подошел, стал успокаивать, обнял, под дыхание мое подстраивается, не плачь, не плачь...

Я понимала: мне делают больно, мне намекают, что я некрасивая и никому не нравлюсь, меня хотят переделать! Я вообще ничего не понимала! Я и сейчас не понимаю, почему меня считают некрасивой? Я вижу в зеркале нормальную симпатичную девушку!!! Почему кто-то так не считает? Мне кажется, на меня обращают внимание молодые люди. И я дружила с парнем из Омска. Мы вместе встречали закат, да. Я не понимаю, что мне надо менять в моей внешности. Я рада бы менять, но не вижу изъянов. Я ощущаю какую-то безвыходность, как будто Таня и Вера сказали мне, как в сказке: „Пойди туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что“.

Мне кажется, что я ничем не отличаюсь от других девчонок, что я абсолютно нормальна

и могу понравиться! Но другие так не считают, и меня это бесит. Затем и мне тоже начинает казаться, что я некрасивая, и я думаю об этом, думаю, думаю, думаю... И меня это бесит ещё больше! Вы обратились ко мне так, как будто я впервые слышу, что можно нравиться парням... впервые слышу, что парня надо привлечь...

И ещё кажется мне, что это проекция (знаете такое умное слово из психологии! ;-)). Будем честными: Вера увидела во мне свои проблемы.

Скажите мне, что не так в моей внешности, я готова к изменениям, если это нужно. А то смотрю на себя в зеркало и вижу, что вроде все в порядке.

Ответьте, прошу! Пишите ответ на этот же адрес. Пишу только Вере, так как не уверена в правильности записанного мной Таниного адреса... Вера, покажите Тане мое письмо, пожалуйста...»

Знаете, где-то в моём подсознании я до сих пор жду их ответ.

Влад

ОДНАЖДЫ, СИДЯ НА КРАЕШКЕ ума, того женского ума, который не верит насмешкам и лентам новостей, а верит лишь подкроватным сказкам, я встретила Влада. Он сидел напротив за столом в киноклубе, куда я попала случайно — даже не помню, как именно, — и кормил игрушечную крысу, которую называл Люсей. «Ешь, Люся, не слушай их». «Ага, это же центр творческого развития... А он из этих... творческих».

Лёгкий и принимающий любую роль, Влад заявился ко мне весь и сразу, вечным путешественником: большой рюкзак, термос с чаем, пенки. Любил ночевать у знакомых, а утром уходить к другим знакомым, по дороге договариваясь о встрече с третьими... Никогда не проводил ритуалов приветствия — и всегда казалось, что он здесь уже несколько часов. Приходил неожиданно. Исчезал и не оставлял ни слов, ни бесконечных мыслей по спирали... Не было послекусия — бессонницы, переходящей в бред, и этих представлений, смакований, что сказал, как посмотрел, взял за руку... Оставлял лишь приятную пустоту, из которой я скатывалась в сновидения — с горки в мягкий снег. Это Влад научил меня падать в снег, когда раскидываю руки и, расслабившись, падаю назад. А потом лежу, глядя в тихое зимнее небо, и мы мол-

чим, пока не становится холодно. Снежинки падают за воротник и колются, маленькие ледяные иголки.

Казалось, в нём вовсе не было глубины, усложняющей и запутывающей, но разве неглубокая чистая речка чем-то хуже мутного моря? Я выбрала речку — и это было именно то, чего мне не хватало. Морем была я.

Влад был музыкантом, играл на тромбоне. Правда, он совсем не походил на тромбониста — его худое, почти девичье тело мне нравилось, но ведь духовики обычно набирают вес, им нужно много тела, чтобы дуть в инструмент...

Отношения с музыкой у Влада начинались причудливо. Его отдали на тромбон из-за болезни. Мама Влада думала, что занятия на духовом инструменте помогут избавить её сына от астмы, развить «дыхалку». Но случилось так, что тромбон стал для Влада не просто терапией. Как расстроился папа Влада, когда узнал о решении сына поступить в музыкальный колледж! Музыка — это же несерьёзно, на инструментах же играют, как дети... Две недели папа Влада ходил со сжатыми кулаками и твердил: «Это твоё решение! Это твоё решение!».

Антон Владимирович хотел, чтобы его сын поступил на технический факультет. «Человек, который знает, что делает», — звучал его девиз. Перед Новым годом мы ходили вокруг новогодней ёлки, и папа нагибался, показывал игрушки, старые, невзрачные игрушки времён своей молодости, они светились приглушённым скромным светом.

— А это спутник. Вот такие делали игрушки в Союзе...

Стеклянный золотистый спутник оттягивал ветку, папа Влада трогал его большими красными пальцами. Он не знал, о чём со мной разговаривать, а я немного боялась его, большого, белоснежно-седого человека, который всю жизнь знал, что делает — ни одного неверного шага, ни единой ошибки или неточности. Техник...

И у его сына Влада было то, что отличало его от других. Особенно в русской культуре... Влад больше действовал, чем говорил. Он просто брал и делал, без рассуждений, раздумий, философствований... Действие было таким же естественным побуждением для Влада, как для большинства моих знакомых — болтовня.

Когда Влад пришёл ко мне, он попробовал все предметы, которые ему подвернулись. Потрогал сосульки люстры, завёл ключиком пластмассового мышонка с микрофоном, дёр-

нул струны гитары — проверил, строит ли, даже попробовал, удобна ли кровать, попрыгал на ней. Как ребёнок.

Влад поступил в колледж и сразу организовал группу. Он занимался каждый день, и занятия для него были куда важнее встреч со мной... Его стал мучить унижительный зуд неопределённости. Музыкальные успехи измерить трудно — нет прибора, весов таланта, амперметра силы, градусника эмоциональности. Остаётся надеяться на то, что скажет учитель, но что он говорит? Вечные слова ободрения, в них меньше правды, чем в восторженных отзывах друзей.

Нашли Владу весёлого учителя, сумевшего привить любовь к занятиям. Как у любого профессионала, у Ивана Петровича Нонкина имела авторская методика. Она представляла собой смесь армейских привычек и жизнелюбия. Спина Нонкина не сгибалась: в неё будто бы был вставлен стальной позвоночник, какой бывает у людей, прошедших армию. За чаем с клубничным вареньем я с удовольствием слушала про Ивана Петровича.

Он мог подойти к Владу сзади и начать трясти его за плечи. Когда Влад спрашивал, зачем он это делает, отвечал:

— Привыкай, в электричке всегда так трести будет.

А когда сначала Влад играл хорошо, а потом плохо, Нонкин замечал:

— Что в первых вагонах, значит, нужно хорошо играть, а в последних — плохо? Нет уж, во всех вагонах играй одинаково!

Иногда Влад делал ошибку, и Нонкин заставлял его отжиматься десять раз. Но это только в те хмурые дни, когда в Нонкине побеждало армейское, суровое начало. С Владом училась смуглая растрёпанная Машка, она играла плохо. Её не заставляли отжиматься — за неё отжимался Влад. Нонкин считал — «пусть стыдно будет».

Успехи в отжиманиях отследить легче — было десять раз, теперь вот пятнадцать. А тромбон... Как понять, происходит что-то или нет? Иногда Влад совсем не занимался и после, отдохнувший, играл проще, чётче и, кажется, лучше, чем прежде.

Влад понял, что боится дышать. Приступы астмы никогда не случались во время концерта, но ощущение, будто что-то может произойти, там, внутри, отказать, как отказывает автомобильный движок, подвести в решительный момент, — это ощущение не покидало. Влад стал

играть робко и тихо, занятия стали для него обязанностью, работой, не игрой. Уставал, жаловался...

— Ради чего это всё? — спрашивал Влад, придя домой после репетиции оркестра, — уставший, почти больной, с отголосками фальши труб и криком дирижера, до сих пор звеневшими в ушах, тишины, тишины... — Они орут на меня! Говорят, я не занимаюсь ни фига, надо заниматься... Ради чего, блин, всё это?

Я молчала.

— Разве что ради самой музыки, — отвечал Влад себе.

Вышка

ВЛАД ВЕДЁТ МЕНЯ к вышке через поле. Где-то внизу река, и над ней летят мотыльки, целое нашествие, тысячи, а может, миллионы мотыльков, полупрозрачных и нескладных. Ударяются о фонари, ломают крылья, и падают в грязь, и гнивают. Дух гниющих мотыльков заполняет улицы, проникает по ночам в открытые окна. Сзади нас нарастает рёв, мы оглядываемся, луч приближающегося мотоцикла освещает лицо, и мотыльки нападают на меня. Я закрываю глаза, ощущая тысячи лёгких ударов, похожих на прикосновения пальцев. От неожиданности смеюсь...

Вышка находится между станцией и дачным посёлком, и к ней направляются сигналы, бесчисленное множество сигналов... В телефонных беседах дачники и городские обсуждают тайны и бытовые подробности, дачные любовные интрижки разрешаются sms-сообщением. Мы невольно доверяем секреты антенне, стальной кракозябре, для которой наши мысли — лишь цепочка нулей и единиц... В ночи холодная вышка различает наши голоса.

В какой-то милой, приятной книжке читала: давным-давно красна девица, обнимая берёзку, шептала ей девичьи секреты, а добрый молодец доверял лихие помыслы попутному ветру. Теперь всё по-новому — мы разговариваем с железом... Отправляем голоса в чисто поле, где они, пойманные вышкой, сливаются в бессмысленный цифровой шум.

К вышке мы идём, чтобы совершить обряд. Не знаю, как оно будет... Мне кажется, сегодня я стану женой Влада. Я готова к венчанию, только одета наоборот — не белое платье, а болотно-зелёная роба. «Белую куртку нельзя, в темноте заметно», — объясняет Влад.

Мы полезем на самый верх. До меня у Влада было тринадцать девушек, и каждую он сводил на вышку. Оттого, когда он лезет наверх, вспоминает то одну, то другую — и в голове всё сладко перемешивается. Я буду четырнадцатой.

— Они сами меня бросали, — говорит Влад. — Я не обращался с ними как должно.

Но я дура, и оттого не знаю, как должно. Кажется, в этом мире парни дарят девушкам цветы. Я слышала, вводят в кино. И, наверное, что-то ещё. Мне не рассказали подружки, потому что у меня не было подруг.

— Но ты-то меня не бросишь, — улыбался он.

Я так радуюсь от того, что похожа на Влада, незаметного Влада-хамелеона. Нам многие говорят, что мы похожи, оттого что отражаем друг друга как два зеркала, бесконечно отражаем, как самые близкие люди. Если два зеркала бесконечно отразят друг друга, что получится? Сияющая зеркальная пустота и бесконечность.

Как предвкушала я этот момент, как ждала! Помню, с каким восторгом Влад рассказывал про вышку. Когда мы только познакомились, были страшно старомодны — болтали по телефону по нескольку часов, устанавливая рекорд. Самое большее — шесть часов душевного разговора. Мы бродили по комнате, читали друг другу книги, иногда молчали в трубку, но и в молчании было хорошо. Я ловила себя на том, что инстинктивно глажу трубку, будто Влад сидит внутри.

— Сидишь ты наверху и видишь станции за много километров... И так там спокойно-спокойно, как никогда прежде не было, представляешь?

В Интернете говорят, лазать на вышку — вредно, и излучение наверху может привести к разным болезням... Даже к импотенции. Но не хочу их слушать, потому мы начинаем подъём...

Влад лезет молча и очень быстро, едва успеваю... На мгновение Влад приостанавливается, и я за ним, но этого хватает, чтобы глянуть вниз, через решётку вышки. Страшно... Слишком высоко забралась! Прислушиваюсь и понимаю: да, страшно, но где-то внутри, глубоко, — сладость головокружительная... И всё же хочется закрыть глаза и понять, что это просто сон, закричать, чтобы проснуться. Но это не сон. Ноги тягелеют, будто притягиваются магнитами к железным ступеням, игибаются. Руки потеют. Влад хватается за руку. Меня перекашивает, прижимаюсь к вышке всем телом, будто так легче удержаться... Держи меня, вышка, держи...

Вдавливаю ноги, руки сжимаю, готова схватиться зубами.

— Влад... У меня руки скользят.

— Возьми, — отдаёт кожаные перчатки-беспальцовки.

Главное — не смотреть. Вот я падаю вниз... Стоп. Мысли, стоп! Не представлять. И всё же — вот я падаю... Гадаю, как бы зацепиться, жалею, три мгновения сожалений, нет... не, не, не, не представлять!!!

— Вла-а-ад!

...Если бы я могла видеть, о чём думает Влад... Судорожное движение, мысли мчатся в его голове, как машины в игрушке GTA, в которую проиграл всю неделю, сбивают и перегоняют друг друга. Девушка боится, силой не затащишь. И как ты её заставишь?

Из глубины, со дна, стряхивая мутный ил обрцов, всплывает картинка и становится чётче, объёмней... Будто не из жизни, в жизни такого не было, а откуда-то из мира грёз и сладких обещаний, из фильма... Точно. Из фильма. Внизу проклятый океан, кипящая лава, пропасть, ох как страшно смотреть туда! Она перегибается через перекладину... Он подхватывает её, и время останавливается... Влад целует меня. Успокаивает, гладит, но ноги мои сгибаются в коленях, и я приседаю... Романтические фразы — холодные заряды, но Влад хочет, чтоб как в фильме. Лепечет нежное, от страха не разбираю что...

И где-то в фильмомире я, окрылённая поцелуем, уже карабкаюсь вверх, поближе к небу.

А где-то здесь не происходит ничего. Только в глазах начинает темнеть, как тогда, на уроке валеологии, будто бы заражена болезнью падения, падучей болезнью, от которой падаюууу... нет. Не представлять. Не. Не надо. Господи, помоги! Отче наш, иже еси, я больше не буду колдовать, обещаю, только помоги удержаться, обещаю, не буду запретное узнавать, не положено, блин, блин, мат приходит в голову, вместо молитвы — мат, мат вместо молитвы, мысли, как их контролировать... Да светится имя твое, да придет мотылёк, белый-белый, господи, несчастный бьётся об воздух, упругий воздух... Белое рябит, похожее на мотыльков, трепещут, бьются, это помехи, помехи, как в телевизоре, откуда их столько, чёртовы мотыльки, они шепчут, шепчут, звенят в ушах, ну я же обещаю, господи, только дай удержаться, дай удержаться, блин, ненавижу, как контролировать мысли, как...

— Эй, наверху! А ну-ка, слазьте!

Кажется, нас заметили.

Спускаюсь на дрожащих ногах, цепляюсь скользкими руками. Теперь моё тело отдельно, наблюдаю будто со стороны, будто онемела... И мои ноги сами доносят меня до земли, спасибо им.

Подвыпившие мужички пошатываются, морщусь от пивного запаха, чувствую их отвратительную близость, меня передёргивает. Скрипнула кожаная куртка, в свете фонаря — маленькие белёсые волосики, торчащие из сальной головы. Мужики тычут фонарём мне в лицо.

— Девка! — гогочут они. — Это девка!

И мотыльки, стражники тьмы и покоя, нападают, лезут в глаза и бьют по щекам, щекочут, и я жмурюсь, закрываю лицо ладонями. Мужики ржут. Мы убегаем, избитые маленькими мотыльками, и Влад кричит:

— Предательница! Все мои девушки залезали! Ты одна не залезла! Это всё из-за тебя!

Мне становится по-настоящему страшно, потому что мне кажется, я не прошла испытания и Влад сейчас меня бросит. Но теперь я знаю, что, если он уйдёт, для меня ничего не изменится. Потому что я приду сюда снова, буду приходить и приходить, пока не одолею высоту, пока не залезу на вышку.

А потом, желая испытать меня, Влад устраивает новые хулиганские приключения. Мы путешествуем автостопом.

И что удивительно, я полюбила автостоп. За то, что жизни в нём больше, чем в работе или в учёбе. Никогда не знаешь, как долго простишь в ожидании своей попутки и кто тебя подберёт.

Влад говорил о трассе, как о песне, называл её «треком». На треке приходилось любить и доверять. Если ты садишься в машину к незнакомцу или, наоборот, едешь и берёшь автостопщиков, то ты любишь и доверяешь, по-другому нельзя. Поэтому на трассе хороших людей больше, чем плохих. Со школы я привыкла относиться к людям с осторожностью, отгораживаться... Но на трассе — другое дело, я позволяю себе слиться, забыться, потерять контроль... Ведь от меня ничего не зависит — ни машина, ни наш новый попутчик, ни пункт, до куда доедем! Сегодня сначала мы ехали с грузинами, мужем и женой, и грузинка на заднем сиденье пододвинулась ко мне близко-близко, прижимаясь влажными локтями, я такое не люблю вообще, а она показывает видео на телефоне, как в её доме старые и молодые женщины

готовят пахлаву... Мы женщины, значит, сёстры. Автостоп — это божественная лотерея, если хочешь поиграть с высшей силой, выходи на трассу. Поляк подкармливает нас польскими помидорами и шоколадом, мы почти не говорим, не знаем языка, но мы улыбаемся друг другу и доверяем без причин.

По трассе под чистым, постепенно темнеющим небом — вдаль, где чертит дождь. Впереди, над дорогой, будто театральный картонный занавес, возвышаются сизые горы облаков. На них натянута полупрозрачная радуга, красная, оранжевая, зелёная, фиолетовая, она переливается, и неясно, где один цвет переходит в другой. На каждый взгляд Влада отвечаю чуткой улыбкой, и никогда прежде мы не были так близки, как в кабине грузовика на гряде чужой одежды. Честное слово, мне даже кажется, я читаю его мысли. Вот думаю: «Надо карту глянуть» — и тут же Влад достаёт атлас автомобильных дорог, пальцем прочерчивает маршрут.

На трассе я — девушка-приманка в оранжевом платье. Предполагаю, что, клюнув на автостопщицу, иногда водители расстраиваются, узнав, что со мной едет парень. Но тут уж ничего не поделаешь... Утром, когда машин на трассе становится много, я вытягиваю вперёд руку с большим пальцем, улыбаюсь и, как обычно, мысленно приказываю: «Остановись».

И машина останавливается, да так быстро, что не успеваю сообразить...

Автостоп как жизнь. Жизнь как автостоп...

Сидеть мы можем на месте не дольше одних суток. Мы будем смотреть в небо... Наутро поедим дальше... Нам будут встречаться люди: весёлые, добрые люди. Мы с ними петь песни будем. И будем смотреть в небо. А в небе — далёкие звёзды, по ним пишут гороскопы. Летают меж них звездолёты и иногда берут стопом. И множество, множество лет из воплощения — и в воплощение... Весело стоим планеты и начинаем с рождения! Но вновь мы пробудем на месте — не долее одних суток... Наутро отправимся дальше — в печальное синее небо...

Во второй раз я залезла на вышку зимой. Когда умер папа.

Припадала к шкафу в поисках книги, растолкующей тайны жизни и смерти по-американски, просто и весело — я верила (и сейчас верю), что это возможно. До конца не разгадала...

Папа заболел неожиданно. Его увезли в больницу. Он не любил врачей, не верил им. Это из-за них у него болели ноги — неудачная

операция, во всяком случае, он так думал. «Никогда не соглашайся на операции», — говорил папа. Мама говорила, чтобы я никогда не поднимала тяжести, потому что однажды она подняла тяжёлую сумку, и у неё опустилась почка... Ещё говорила, чтобы я никогда не становилась актрисой... Я поднимала голову и видела свод родительских «никогда», высокий и непробиваемый, закрывающий солнце.

Под наркозом во время операции папа вдруг проснулся... Закричал и рванул. Они убивали его, в развевающихся белых халатах, озлобленные, вооружённые шприцами, скальпелями, изошрёнными орудиями пытки... Он кричал, как обычно кричал во сне, это и был сон, слишком похожий на реальность, или реальность, напоминающая сон, наркоз стёр границы.

Рассказывал, как его хотели убить, рассуждал долго и с обидой... После операции дрожал и бредил, говорил, что ему звонил брат и спрашивал, где моя синяя папка, которая только что была в руках... Меня поразило другое. «А, это тот капризный дедушка», — сказала медсестра тоном, которым говорила обо всех пациентах. Никто не называл моего папу капризным дедушкой, все почитали его, он был — необыкновенный...

Я сделала открытие. То, что я считала удивительным, — лишь отражение времени. Папа стал экстрасенсом, однажды подержавшись за металлические палочки, измерив биоэнергетическое поле специальным прибором и поверив, что оно действительно сильное, его поле... Он лишь отразил поток разрешённой эзотерики, хлынувший в Россию после перестройки. А те, кто пропагандировал в моей школе «индивидуальность», кто хотел «быть не таким, как все»... Они лишь отражения антисоветских настроений.

После больницы меня ждал Влад. С ним я была счастлива, несмотря на папину болезнь. Папа прожил ещё год, но всё уже кончилось. После операции это был другой папа, не сочинявший теорий и не болтавший о боге за завтраком, о том обыденном и простецком боге, который был только у нас с папой. Я подумала, что душа уже ушла из него... А потом он умер по-настоящему.

Мы плыли в мерцании свечей, в болезненном полумраке среди цветов и свечей. Я подошла к нему, вырвавшись из слёзной пелены, мутного тумана, окутывающего сумеречную комнату. Все плакали, а мне было не до того. Мне нужно было понять, что передо мной... Как

странно: папа лежал такой же, как и на диване, мне даже начинало казаться, что он дышит. Он спал... И мы, в чёрных одеждах и с восковыми свечами в руках, будто бы сторожили его сон. Только ссохшаяся кожа и заострённый нос выдавали мертвеца. Хаотично, с детским интересом трогала ледяные руки, и родственники смотрели с тревогой — что со мной, не схожу ли я с ума от горя? Нет... Детский интерес охватил меня, и я решила ощупать папу, мне хотелось исследовать его, мёртвого, когда ещё представится такая возможность? В гробу лежал скукоженный кокон, высвободивший бабочку. Вроде бы папа, а вроде уже и нет. Слезная пелена подбиралась и ко мне, наступала, рыдания сливались, побуждая присоединиться. Вот только если бы я заплакала, то предала бы мою веру, себя... Я думала: кто верит — не должен плакать.

И только когда они начали закапывать, захотелось кинуться и закричать: «Нет! Не закапывайте папу!», но волевой рычаг повернулся, и включился охлаждающий разум. Всё нормально. Он мёртв.

При жизни он не мог знать, что его воля не осуществима. Не знал, что, если стоит протез, нельзя кремировать, иначе железяка вылетит и повредит внутренности кремационной печи. Можно, конечно, расковырять тело, вынуть протез, зашить обратно. Но героев-хирургов, готовых к подвигу, не нашлось. Оказывается, они лечат только живых...

... — Если ты здесь, включи свет.

Не отвечает. Только фортепиано отзывается чуть слышным звоном. Когда вещи собраны, комната кажется опустевшей. Потом, когда буду возвращаться из Москвы, мне будет казаться, что моя комната без меня зарастает: это мама обставляет её комнатными цветами...

— Мы же договаривались! Дай мне знак.

Молчит.

— Слушай, я уезжаю в Москву. Я сказала маме, что Влад поступает и я поеду за ним. На самом деле я еду не только за ним... Еду по твоим следам. Ты жил в Москве, и в Петербурге, и в Павлодаре, и где-то на севере... Еду, потому что хочу быть как ты. Хочу, чтобы мои мысли летали высоко... Куда не достанет страх. Они смеялись, и я почти их простила... А теперь я хочу смеяться над ними. Над всеми, как делал это ты!

Папа молчит.

Это был мой последний день в Новосибирске перед переездом в Москву.

Я ехала на дачу в безлюдном вагоне, и пустота сочилась из замороженных окон. По старой нашей с Владом традиции подтолкнула электричку, когда та тронулась. И угасающая томная нота, — звук уходящего поезда, — повис, долго не решаясь оборваться...

Отравленная вагонной пустотой, я шла по полю и, расстегнув куртку, не ощущала холода. А в тишине шуршал прекрасный сибирский снег. Побывав в Москве, я пойму, что снег этот — дороже золота. Моя вышка терялась в чёрно-синем небе, и манил красный огонёк. Вдох-выдох, бьётся сердце, в голове звенит до полуобморока. Тихо снаружи, оглушительно внутри. Разливается чернота, и я почти не вижу своих рук в перчатках. Обхватываю холодную липкую железку, наступаю тяжёлым походным ботинком...

Лезу. Уже не ради Влада. Но и не ради себя — скорее, вопреки.

Прислушалась... Паники вроде нет.

Тридцать или около того ступеней... И вот я над миром, над цифровым миром. Вокруг — неслышимые голоса далёких абонентов, стремящихся соединиться, сигналы, сигналы... Одна над лесом, над пустыми дачами, погребённым под снегом урожаем — чьими-то надеждами, над ледяной рекой, над Змеиной горкой... Но ничего не вижу: река сливается с дорогой, горка — с небом, стволы деревьев липнут к крышам. Мир закатывается в пластилиновый ком и сминается, остаются только холодные перекладки, руки в перчатках, и ноги ищут опору, чтоб не угодить в пустоту.

Я читала: после смерти близкого человека раздавался звонок, и родной голос в трубке — покойник звонил с того света. Неужто всё галлюцинации поверженного смертью сознания, а если нет... Как? Неужели вот так, как я, — сливаясь с темнотой, становясь ничем, цифрой, нулём или единицей, ловя сигналы в чёрную паутину перекрёстов вышки и направляя их далее, чтобы дотянуться до живого, трепещущего в покинутом мире... Ушедшие сидят на сотовых вышках. Души их жадно ловят сигналы, они пытаются поймать наши живые голоса... Папа, ты здесь?

Лезу.

Страшно ли мне? Конечно страшно, но руки держат пока, хоть колени дрожат.

Главное, не знать, сколько осталось, не смотреть вниз, не глядеть вверх. Не так высоко, как кажется...

Наконец толкаю незапертый люк головой — и оказываюсь на краю пропасти. Вот она, моя

пропасть. Где оборвались телефонные провода, по которым шёл сигнал, когда я звонила в «телефон доверия». Где замер свободный звериный крик, оставшись мышинным писком. Здесь, на площадке над миром, шумит ветер. Стою в красном свете, в вытоптанном кружке в снегу, держась за перила. Фонарь трепещет и шелестит, как крылья бабочки, а потом гаснет — это приходит темнота. Не слышу её голос, но чувствую. Зря всё это: беседы с психологами, буквы, посыпающие мою голову типографским пеплом: «Как обрести уверенность в себе», «Как завести друзей и притягивать к себе людей». Темнота снизошла до меня, она вызвала меня на разговор. Из темноты возникают голоса — их голоса, моих абонентов. Чей-то утешительный голос: «Глупенькая! Всё же прошло. Всё давно позади, как можно грузиться так долго?». Если бы я сама знала — как, почему чёрная вселенная, пропасть... «Ты себя накручиваешь!» — голос Влада. «Тебя кто-нибудь обижал?» — спрашивает, как в детстве мама. Откуда эти голоса? И странная песенка: «Темнота под боком, я одна под богом, но их так много...». «Чечня!» «Дурааа, Дура-Дура-Дурааа!» «Чечня, тебе не хочется одеться понаряднее?» «Где только таких делают, как ты?» Темнота готова принять меня на чёрные крылья, унести туда, где не больно. Голоса затихнут. Страдание пройдёт. Писк никогда не станет криком, потому что и не должен... Делаю шаг вперёд над огромным уснувшим лесом, над миром, боязливо вцепившись в перила, вспугнув вспорхнувший снег. Взмахиваю руками, будто собираюсь полететь, но вновь выходит всплеск отчаяния. Видишь, я ничего не могу, даже взмахнуть воображаемыми крыльями. Оттого они и смеются. Видишь, Темнота? Я по-прежнему боюсь, значит, мне хочется жить, и нужно дождаться рассвета.

Москва

КОГДА ВЛАД ВСЁ-ТАКИ решил поехать в Москву, чтобы продолжить обучение музыке в Гнесинке, Нонкин сказал ему на прощание:

— В Москве те ещё учителя. Научат тебя играть оперу Глинки «Хрен на льдинке».

Ему, конечно, было грустно прощаться с учеником, который решил податься туда, откуда, по слухам, не возвращаются. Но что поделаешь...

В Новосибирске всё было пушистым — снег, длинные волосы Влада, люди и их беседы.

А Москва огрызалась, расплзлась, чавкала и таяла.

Переезжали поначалу судорожно, набив чемоданы и рюкзаки, за нами тянулась суетливая вереница родственников и друзей, которые беспокоились о наших вещах гораздо больше, чем мы сами. Проходило полгода — и нас встречали, и катилась всё та же неугомонная вереница родственников и друзей. И вдруг мы понимали, что с кем-то из них можно и не встретиться, о ком-то можно и позабыть, и виделись реже и реже...

Наши друзья отлетали, как листья с деревьев, оставались только самые верные, стойкие, готовые переносить бесконечный цикл встреч и разлук. Но люди выпадали из жизни так незаметно, без боли... Что было особенно грустно. Оглянешься — а нет уже той рыжей девчонки или весёлого пузатого парнишки, предлагающего выпить нам, непьющим, а мы ему — десять бутылок газировки, сока, мятного сиропа... Давай повеселимся, посмешиваем. Помнишь? Я тоже почти не помню.

Бесконечны, будто череда перерождений, Москва — Новосибирск, Новосибирск — Москва... Мы едем в такси, в зыбком ночном мире бликов и отблесков. Мимо недостроенных зданий, непонятных вихрастых граффити на заборах и вывесок. Займы, кредиты, шиномонтаж... Двоятся отражения в стёклах, фонари летят за окнами, растекаясь по дороге, струящейся как дым. Нас уже никто не встречает и не провожает. На спине — лёгкие рюкзачки, где ноутбуки да несколько мелких вещиц. Как хорошо — ехать куда-то. И, если честно, уже неважно куда...

Закрываю глаза и смотрю... Пред моим внутренним взором возникает дед. Красные борозды-морщины играют на подвижном лице — перекаты времени; он археолог, извлекающий ручку амфоры... Ему некуда торопиться. Вечность глядит на него глазами гречанки-флейтистки... «Разгадаешь ты меня, весь такой старый и мудрый? Или думаешь, моя вечная юность глупее твоей временной старости?»

«Погоди, чертовка, дай насладиться, — отвечает дед, смакуя шершавую ручку, — бог с ними, с ответами. Успеется...»

И я открываю глаза.

На ВДНХ. Моё приключение начнётся здесь. Впереди распускается цветок колеса обозрения,

жонглирует словом «Москва». Текут с деревьев синие неоновые слёзы, а вдали пляшут звёзды на гостинице «Космос». Из-за поворота выезжает детский паровозик, озарённый электрическими всполохами, окутанный мерцающей дымкой, он тарактит, поскрипывает, и клоун на локомотиве показывает большой палец. Садись, мол, будет круто. Местный камикадзе, бесформенная женщина лет пятидесяти, кидается под колёса паровозу и кричит: «Медведя, выигрываем медведя!». И я отвожу глаза, и я ухожу от неё — вдоль игриво-розового ангарчика, в котором грустные плюшевые медведи свисают вниз головой. Здесь же продаются пластмассовые игрушки: стрелялки, свистелки, звенелки, выпрыгивалки, смешилки и пугалки. Пластик, горы цветного китайского пластика... Продолжается пластиковый век. Лёгкий, как попкорн. И глупый, как сувениры в киоске — матрёшки с зубочистками, воткнутыми в голову.

А в вышине, где гранитный век, в темнеющем небе вороны расправляют крылья и парят... Они садятся на позолоченные статуи — падают на хоровод колхозниц, летают вокруг пятиконечных звёзд. Они привыкли к этим звёздам и верны им, потому что однажды звёзды обещали быть вечными. Угрюмо, упрямо стоит гранитный век — павильоны, фонтаны, статуи, простирающие руки к небу, тянущиеся ввысь каменными телами и застывшими взглядами. Может быть, они помнят ещё, что когда-то здесь ходил другой паровозик — и были вагоны, как настоящие, и большие колёса, и крутящийся руль, и приборная панель. Прокатившись на нём, ребёнок мог захотеть стать машинистом или путешественником. Теперь рожа клоуна мчится мимо кафешек, кафешек, безвкусных букв, «птицы», «шаурмы», «блинов», и, когда темнеет, на паровозике зажигаются гирлянды — красные, синие, зелёные фонарики вспыхивают во тьме, перемигиваются то быстро, то медленно... И я иду вслед за паровозиком.

Иногда я думаю: когда-нибудь гранитный век отступит, растворится, и рассыплются памятники, здания... Всё зарастёт пластиковыми павильончиками, как сорняками. Оно и сейчас заросло, только вот не совсем, не везде...

Мир почти разбит. Давай потанцуем на его осколках. А что нам остаётся?

Я закрываю глаза. Слышу, сзади сигналит детский паровозик: он почти догнал меня. И хочет глупый клоун, а из-под колёс летят пласт-

массовые банки; фонарики, гирлянды взрываются, гаснут и разлетаются, хрустят под ногами осколки; ломается, крошится пластиковый мир, начинается детский апокалипсис... И катится дальше паровозик — по инерции. По гранитной дороге, плавно перетекающей в неведомое, дремучее бездорожье...

Москва — город, где даже нищие амбициозны. Элитный бомж, как он сам себя называет, предлагает сфотографироваться с собой, не бесплатно, разумеется! Нестандартный рекламный ход. Все нищие — маркетологи. А кто не маркетолог — тот погибнет от голода...

Парень с гитарой в переходе метро возле «Дома музыки» комплиментами выпрашивает у девушек столько денег за час, сколько его «коллеги» из «Дома музыки» не заработали за вечер. Из-за длинных волос сзади его можно принять за девушку. Кривые, сколотые зубы бесстыдно скалятся. Он подходит ко мне и говорит, какая я красивая, интересуется, куда я направляюсь. Запускаю руку в карман и, не глядя, даю горсть мелочи.

В переходе метро на меня натывается дедок. От него воняет крепкой смесью спирта, пота и непередаваемого.

— Не подскхххажешь, как пройххти, — хриплый голос должен был оттолкнуть, но заставил пододвинуться поближе.

— Что?

— Напугал я тебя, — улыбка изменила его лицо, оно скривилось, вытянулось, поплыло... — К-к-к-к... г-г-г-г... подожди...

Он коснулся моего плеча, настойчивый, почти злой.

— Как пройти к-к... г-г-г-г...

Когда я теряюсь и размякаю, понимая, что он уже потянул меня за невидимый рычаг, что я поддалась, поддалась вперёд, и вот я готова, а почему бы и не...

— Мелочи дай на метро. Старуха будет ругать, говорить, опять пропил, дед...

Сыплю горсть монет, наугад достав из кармана, и он почему-то не спускается в метро, а идёт на улицу.

Лит

У ВХОДА В ALMA MATER говорят напутственные слова... Я в первом ряду, но слышу только шелест листы и ропот сзади. Там, возможно, думают, будто только им не слышно. Се-

дой грустный мастер глядит на тёплую беззаботную толпу студентов, как на своё будущее... Того, что он скажет, не услышит никто.

Рационалисты из студсовета предлагали кафедре приобрести микрофоны. Они отказались... И правда, не стоит разрушать эту странную метафору — они говорят в старинное приличие, похожее на большую оранжевую бритву, в рацию ли, в первый ли на свете микрофон...

Может, оттого что слова неважны, ведь грустный мастер способен передать нужное без слов, важно только прислушаться...

Может, оттого, что я бы всё-таки услышала его слова, ничего бы не изменилось.

Возможно, всё должно остаться именно таким: на жёлтом здании гуляет солнце, и мы молчим, мы улыбаемся и делаем вид, что слушаем — мы играем в Первое сентября.

Они говорят, мы не слышим... Так начинается учебный год.

Я люблю Лит. Люблю, когда старые добрые преподаватели Лита звучно улыбаются, растягивают слово «ру-у-кописи». Мои одногруппники отзываются сухим щелчком: «Текст».

В Литературном институте и работники столовой, и гардеробщики носят такие лица, будто поняли жизнь. А я, разинув рот, стою перед прекрасной витриной, на которой написано: «Творчество, Вселенная, Бог»... И мне не хочется никого критиковать. Хочу, чтоб люди творили — и лучше хреново, чем никак. А они думают наоборот: лучше никак, чем хреново. Я еретик...

Или просто дура.

Дура, начитавшаяся сказок.

Когда я приехала в общежитие, Останкинской башни не существовало. Она появилась днём — и это было чудом. Её шпиль выплыл из тумана... Ей было привычно проявляться для новичков, рождаться каждый раз, наблюдая их смущение. За окном белизна, белизна — и вдруг вырастает металлическая башенка! Мы звонили по скайпу домой и хвастались башней, и ей было приятно — и она неизменно вырастала снова, из безнадёжного тумана... Она проявлялась для нас, первокурсников, как посвящение, и была тем самым тщеславным напоминанием: мы не в общежитии, нет. Мы в Москве.

И пусть кто-то называл её башней смерти, и пусть зло, телевидение, коварный гипноз средств массовой информации исходили от неё — для меня она была башенкой. Моей башенкой, ночником, новогодней ёлкой. Где-то за ней притаился снег...

А снег не выпал, хотя должен был — конец ноября. В промедлении природы чудилось что-то нехорошее, болезненное. Шла лекция, но я не слушала: белый Горький глядел на меня с синей стены аудитории. Только теперь заметила, у Горького нет глазниц. Пустыми глазами-дырами он глядит на сонных студентов, и в эти дыры стекают молодые сны... Отчего он такой белый? Неужели от снега? Только снег есть где-то там, у Горького, а здесь нет его. Горький глядит на нас, заснеженный, холодный, любитесь, как мы, невеликие писатели, изнываем без снега... Горький знает тайну алхимиков. Знает, как похожи эти вещества — снег и вдохновение. И то и другое падает с неба; из того и из другого можно лепить непрочное. Молчит Горький. Смотрит.

Скучая на лекции, я вхожу в Сеть. Здравствуй, мёртвый город!

Мы мертвы.

Мы не видим мир — видим графику с высоким разрешением.

Не обращаемся к богу — спрашиваем Google.

Люди всё реже и реже посещают могилы близких. Зато чаще посещают их странички в «ВКонтакте». Страничка в социальной сети и есть могила, сооружаемая при жизни. Так фараоны в Древнем Египте сооружали гробницы, потому что в моде была вечность... Страничка в «ВКонтакте» и могила — схожи. Есть фотография. Иногда годы жизни. Цветы, принесённые друзьями... «Напиши мне на стене» — читай: «оставь на моей могиле». Можно бесконечно путешествовать по могилам живых людей, по страничкам в «ВКонтакте», зная, что «все там есть». Пройдёт пятьсот лет, и мёртвых страничек будет больше, чем живых. Конечно, странички будут удаляться, но их забыли, а те, которых помнят... Мёртвых в «ВКонтакте» действительно станет больше, а когда? Вопрос арифметики...

Я не исключение и тоже пришла к папе на могилу лишь однажды. Никому я не рассказывала, как пришла к папе на могилу просить прощения. Я была виновата... Оставила папу ради Влада. С Владом жизнь пошла совсем другая — интересная, странная... Неудивительно, что папа ревновал: он видел, как я забываюсь в путешествиях, в приключениях, и он с больными ногами не мог устремиться за мной. Папа и не пытался скрыть ревность, встречая Влада в молчании. Влад боялся папу и всё же увлекал меня дальше и дальше... И вот затащил меня в Москву.

Москва умирает. Мало кто замечает её смерть, они ждут конца света. Вот снесут винду — и потеряется информация. Никто не замечает смерти будничной, ежедневной. Они переселяются в «ВКонтакте» — в город мёртвых людей. Они забывают, как с восходом солнца поют птицы, как пахнут по ночам цветы. Их души грязными облачками испаряются в небо и теряются в недоступной, непонятной обители главного программиста... В синем небе «экрана смерти», системной ошибки Windows.

В один угол я поставила радио, чтоб мне сказали, что делать.

В другой угол я поставила телевизор, чтоб мне показали, что делать.

Посредине я поставила компьютер с Интернетом. Чтобы знать, отчего смеяться.

Я окружена. Я — в безопасности.

...Моя сладкая иллюзорная безопасность рушится в миг. В двадцатых числах мая, прямо посреди зачётной недели, Ева стоит на карнизе с той стороны окна. Я знаю, зачем она там... Но бессмысленно спрашиваю:

— Ева... Что ты делаешь?

— Ничего...

Башня за окном такая яркая, что хочется выть на неё. Отодвинуть раму, протянуть руки в темноту, дотронуться до душистых липких листьев, пахнущих чем-то сладким, шепчущих близко-близко... Вдали пьяный голос нестройно объявляет: «Звезда... по имени Солн-це». Ева стоит на подоконнике, а я трусливо думаю: «Если она прыгнет... То я не буду виновата... Камер нет — они не увидят моё бездействие. Бездействие... Наказуемо?»...

Может... оттащить её от окна? Но мне почему-то кажется, если я трону её, она точно прыгнет. Она любит, когда назло, наоборот.

Ева пухленькая и ловкая, она умеет балансировать на крышах поездов и разгоняться на скейте. Она знает, как надо жить: одним моментом, сейчас и сразу — вот так! Ева презирает оттенки серого, в ней плещется жизнь, готовая выплеснуться через край...

Ева топчется с той стороны окна. Внутри меня какое-то неподходящее спокойствие... И она отступает.

— Травматичная высота! — Ева матерится, ступая на шаткий грязный стол.

И мой вздох облегчения. Тихо, чтоб она не услышала...

— Тебе на крышу надо, — улыбаюсь.

— На крыше тоже невысоко. Дурацкая общага — даже сдохнуть не получится.

Говорят, если кто-то пытается повеситься или прыгнуть, нужно сдать его в психушку.

Но я не сдам её — на психологии рассказывали, что такое наша «психиатрия», и врал Булгаков, описывая в «Мастере и Маргарите» тихую гавань для душевнобольных!

— Если сдашь в психушку, тебя в Лите зачморят, — она смеётся.

Ещё со школы мне всё равно — зачморят меня или нет. Но ведь верно: зачморят. Сумасшедшие должны прикрывать друг друга. Оберегать от врачей. В Лите сумасшествие — норма, а «нормальность» — диагноз, который может означать и профнепригодность...

— В этой комнате можешь делать что угодно, — заверяю я.

Общажная комната не сразу стала нашим домом. Поначалу я называла её «кабинетом», потому что всё такое твёрдое, рабочее и никаких тебе диванчиков. А Ева — «номером», ей часто приходилось жить в номерах.

Аэропорт вдохновения располагается между жизнью и смертью, моя общага стоит именно здесь. Мы лишь ждём свой рейс... Все люди ждут свой рейс, только в общаге я ощущаю это с особенной ясностью.

Ева сидит на полу среди груды одежды и каких-то билетиков, чеков. Изредка вздрагивает. Жарко, я вспотела, но не иду в душ, потому что боюсь оставлять её. Мне надо спать, потому что пора, я устала, а завтра учить весь день. Но я не засыпаю, разговариваю спокойным голосом. Просто, когда с ней разговариваешь, она меньше дрожит.

По ночам Ева рассказывает удивительные истории.

— Перед тем как мы расстались, — она говорит о родителях, как говорят обычно о супругах, — мы пошли в ресторан. В дорогой ресторан, я впервые с ними пошла. Родители стали говорить, какой у меня беспутный брат, не хочет зарабатывать... А я тогда возьми да и скажи: «А я вообще, когда вырасту, буду жить в общаге!». Так я только теперь поняла... — она смеётся.

Ева ненавидит богатство. Деньги сделали злыми её родителей.

— Они всё поставили на деньги, всё! И как же я их здорово обломала, ушла от них. Что им теперь делать с их деньгами? Куда их девать?

В ответ на угрозы повеситься на крепко свитом крюке я ничего не отвечаю... В вопросах проводов, крюков и всевозможных приспособлений доверяю Владу.

— Оборвётся! — говорит он просто, и сразу успокаиваюсь.

Ева встречает меня после института и с ходу заявляет:

— Я повесилась! — она смотрит с отчаянием. — Поплыли цветные круги... Потом не помню... Очнулась на полу. Но я должна была умереть, должна! Это чудо. Не знаю, как это объяснить!

— Значит, не время ещё тебе. Бог показывает, что не время...

Но я почему-то ей не верю. Не могла она повеситься! Влад же говорил, что не выдержит... Нет, головой я верю, а сердце глухо спит, стучит ровно, и я спокойно ухожу наверх в класс для занятий.

Но когда возвращаюсь, моё сердце в трепете просыпается... И какой страшный сон!

Ева, моя маленькая, бледная Ева в синем платье и в жёлтых сапожках, лежит поперёк комнаты на одеяле. «Ну вот, повесилась», — проносится мысль, и только теперь я понимаю, что всё это — правда. Время замедляется. Ноги увязают в замедленном времени, в невыносимо вязких секундах, тяжёлые ноги. Иду по длинной комнате, вытянутой в бесконечность, жёлтую бесконечность заляпанных обоев, трогаю её за плечо, в надежде разбудить...

— Ева... Опять пыталась повеситься? — улыбаюсь.

— Я заснула... Нет, правда, нет.

Слава богу. Она ложится и кашляет — видимо, последствия затянутой петли.

— Так спать хотелось... Я и заснула.

Она ребёнок. Ужасно взрослый ребёнок. Я надеюсь, всё будет хорошо.

Надо убрать чёртов крюк срочно! Найти молоток, где найти молоток... На счастье, встречаю забулдыгу, вечно рассуждающего о литературе. Мне всегда было жалко его. Потому что он-то как раз и должен учиться здесь, в Лите. Он много читает, но литература отбирает больше, чем он берёт у неё. Литература высушивает его жизнь до корочки, до сухих оболочек-букв. Особенно он любит читать «жизненное», высушенные трагедии — коллекционные книги, шелест страниц, коллекция траурных бабочек с воткну-

тыми иголками. По ночам он перебирает их, в перерывах между выпусками новостей по радио, и реальный мир кажется ему предсказуемым, а его собственная трагедия кроется... в нечитанности. Какой безвкусной кажется жизнь после стольких чужих историй! О чём тут ещё рассказывать? Кажется, бросил бы читать — стал бы хорошим писателем.

— О-о-о... Чё-т у тебя какие-то странные поводы мужчин приглашать, — забулдыга ржёт, выслушав мою просьбу, — посидели бы, это... выпили... Чё те дался этот крюк?

— Не гармонирует эстетически, — парирую я, хотя в нашей с Евой загаженной комнате понятие «эстетически» звучит неубедительно.

Оказывается, у забулдыги молотка нет, есть полное собрание сочинений Аксакова и тяжёлый утюг. Я выбираю утюг.

Забулдыга взбирается на двухэтажную кровать, и его кости щёлкают, как у старика, — он много сидит за компьютером. В два удара утюгом забулдыга сгибает крюк. Поверх крюка прикрепляем на скотч разноцветный лоскутный коврик.

...Ночью у меня тяжёлая голова.

Небо, устланное бархатными серыми тучами, подсвеченными изнутри, кажется низким. Я закрываю глаза, и чудится, будто небо оседает ещё ниже... Опустившись, тучи проникают в голову, заполняют её дыханием загазованной Москвы. Так вот откуда у меня эти мысли. Вот откуда головная боль. Моя голова заполнена тучами.

Я — тучеглав. Потерявшийся в столице тучеглав.

Знаки

Одной тенью через электронный турникет, я и Влад, впрочем, охраннику всё равно, ведь редко охранники действительно задерживают чужих, да и я пока довольно молода и прекрасна, чтобы быть одной из них, — тёмные страдания Лита, ночные думы о жизни не иссушили меня! А может, здесь охранники нужны для красоты и солидности. Нельзя меня не пустить в Элизиум, в царство смеха, королевство звука, блаженное место... Со стен на меня глядят импозантные мужчины, великие композиторы, я поднимаюсь по лестнице вверх под их взглядами, и музыка льёт отовсюду, гитара, трубы... Крылатый рояль летит мне на-

встречу, а за ним — нимфа со сладкозвучным именем, подумать только, Елена Фабиановна!.. Она ветреней вампира Горького и действительно летает на рояле, что изображён на каждой зачётке студента Гнесинки. По дороге мне попадаются беззаботные длинноволосые нимфы, они совсем не похожи на задумчивых дев из Лита...

И мне, тёмному мудрому литовцу, непривычно весело в звучащих стенах Гнесинки.

Бывает, я заглядываю в гнесинскую общагу. По вечерам во дворе общаги шумно: как вороны кричат корейки. Играют то в мяч, то в бадминтон, то ещё во что-то непонятное с криками и бегом. У каждой на кофточке значок Ким Ир Сена. Влад говорит, они ходят строем и у них всё время партсобрания.

В коридорах общаги играют на нескольких инструментах сразу, на скрипке, и трубе, и фортепиано, на кухне и в туалете, но нам с Владом это не мешает заснуть вдвоём на узенькой койке. На этаже Влада все ненавидят баяниста. Он сидит на кухне и под треск картошки на сковороде и кипение в кастрюлях играет очень громко, а главное — одно и то же.

Именно в Гнесинке я познакомилась с божественным хромцом. Когда я узнала Серёжу, мне сразу стало стыдно. Совестно за мою мечтательность, за незнание жизни. А он? Серёжа знал, что Москва — крутящийся барабан под ногами и тут главное бежать и не останавливаться. Хромой и кривой, неказистый, но вертлявый, как чёрт, он перелазил через ограждения, будто был сделан не из плоти, а из резины. Он знал, как получить тысячу халявных подарков в «ВКонтакте», чтобы присылать их знакомым симпатичным девушкам. Точно знал, сколько нужно подарить роз девушке, чтобы она «дала». Наконец, что для меня было важно, он всегда был в курсе, где найти подработку.

Я решила учиться у него. Старательно скрывала свою бестолковую сущность, делала вид, что из его племени и меня интересует выгода и ничего больше.

— Есть какие-то проекты? — робко поинтересовалась я.

Мне казалось, что слово «проекты» должно было сделать из меня, непрактичной сибирской девочки, модную карьеристку.

Серёжа задумался.

— Сёдня я к ребятам газеты раздавать. Но это для удовольствия, за печенки. Если тебе нечего делать...

— Нечего, — согласилась я.

— Поехали, поработаешь.

Так я познакомилась с московской оппозицией.

— Разделяемся по парам, — объяснил парень, вылезая из палатки. — Та-ак, вы вместе будете... Двое в первый вагон, двое — в последний. На каждой станции переходим в следующий. Через четыре станции встречаемся. Если много осталось — едем дальше, если мало — обратно. Что делаем, если подходят менты? Не волнуемся. Спрашивают: «Что вы делаете?». Едем домой. Тогда зачем вам столько газет? Топить печку. Но я видел, как вы раздавали! Мы не раздавали, мы давали тем, кто просил. И так далее...

Как у Ованеса Туманяна в сказке:

«— Откуда же ты явился?»

— Из-за моря.

— На чем?

— Верхом на хромом комаре.

— Стало быть, море маленькое.

— Ничего себе маленькое! Орлу с берега на берег не перелететь.

— Стало быть, орел еще птенец.

— Ничего себе птенец! Как раскинет крылья, их тень город укроет.

— Стало быть, городок-то невеличка.

— Ничего себе невеличка!».

Огромный город — Москва. В моём Новосибирске можно встретить знакомого в метро, в Москве я застрахована от неожиданных встреч. Вагоны бывают разные. В одних газеты берут все, в других — вообще никто. От чего это зависит, неясно, но для меня главное — посмотреть пассажиру в глаза. Он прячет глаза, притворяется, утыкаясь взглядом в газету, в свою обувь, но я подцепляю его взгляд, стараюсь подцепить... И улыбаюсь, улыбаюсь... Пробираюсь сквозь толпу с несбиваемой улыбкой. «Газету возьмите, пожалуйста...»

— Он вор, вор! — дедуля машет руками с чувством собственной правоты. Я улыбаюсь...

— Почитайте, что о нём Соловьёв пишет, откуда он взялся, — говорит какой-то мужчина.

Я не запоминаю их лиц, но некоторые голоса остаются в памяти... Голоса... На выборах они отдадут их... «Возьмите, пожалуйста, газету!» «Наш кандидат спит с женой и двумя детьми!» — орёт мой напарник. Но у меня всё равно берут больше. Наверное, оттого, что я девушка...

— Я хочу вас видеть мэром, вас, а не его! — кричит женщина. — Такая красивая девушка, вы должны быть мэром!

А мне и правда хочется, чтобы они отдали ему голоса — громкие, пробивающие шум поезда... Но кто он, мой кандидат? Рослый мужик с кривой и какой-то европейской улыбкой, какие бывают на рекламах импортных товаров. Что у него там в программе... Кажется, ничего. Кажется, одно слово: «Надежда». И вот я улыбаюсь... Я готова слиться с потоком людей в метро, поделиться газетой, ведь они должны узнать... Когда выхожу, вижу полицейских — дыхание перехватывает.

И, с газетами под курткой пробегая по переходу с «Пушкинской» на «Тверскую», вдруг приостанавливаюсь. Увидела. Никогда не замечала, а тут — приняла вызов. Поняла. Ток-холодок с головы до пят — а власти-то недоглядели! Не додумались до тайных сигналов! До знаков не добрались! Ух-ха-ха! И сайты позакрывают, и плакаты посрывают, но самую главную агитацию-то не заметят! Поймут лишь те, кому предназначено. Красными буквами:

«Держитесь левой стороны».

Иду мимо — замираю. Понимаю, нас не выдавишь. Милые мои, никем не принимаемые! Держитесь левой стороны. Держитесь левой руки, будьте «левыми» в шумных бестолковых компаниях. Когда оно нас зажмёт и отцензурит, переходите чаще с «Тверской» на «Пушкинскую», с «Чистых прудов» на «Сретенский бульвар»!

И показалось, крылья выросли за спиной!

Но никаких крыльев не было, а были дрожащие руки, сжимающие мятые «остатки»...

«Я почти всё раздала»...

Ощутила себя опрокинутой. Из меня будто вылились чувства — все разом. Я могла бы засиять... Но вместо этого расплескалась улыбками, согрела дыханием окна маршрутки, тенью осталась на чих-то фото — в Москве, вообще, сложно сфотографироваться на оживлённой улице, чтобы не попал посторонний.

А облака над Москвой дразнили меня, показывали невиданные замки, странных красивых людей и мистических животных...

Такие, как я, — всю жизнь в оппозиции. Правда, политика тут ни при чём...

«Поехали, поработаешь», — сказал Серёжа, так сказал, что физически ощутила его деловой настрой, захлестнувший потоком. Я стала наблюдателем на выборах.

С детства выборы казались мне чудесным событием. Положив в конвертик письмо, я отправляла его в будущее, затеряв среди ёлочных игрушек, чтобы найти на следующий Новый год. Привязывала к шарикку желание и отправляла в небо. Выборы — это волшебство. Опускаешь бумажку в ящик и идёшь домой, надеясь, что всё будет, как ты задумал.

Влад работает на соседнем участке, я его тоже подписала. Наш гуру, опытный наблюдатель Дима, сказал: «За вашим председателем нужен глаз да глаз. Он пойдёт на что угодно. Сволочь отъявленная!».

Разглядываю эту сволочь: парень в кожаной куртке и очках всё время посмеивается, кривляется, мимика на его лице неуместная. Совершенно неуместное лицо. В перерыве заигрывает с медсёстрами; они играют в слова. Медсестра говорит: «Сон», а председатель ей: «Слово на букву „н“ — некрофилия». — «Кстати, пивной животик вырастает у тех мужчин, у которых женских гормонов много», — добавляет вторая медсестра, и председатель пугается, поглядывая на свой животик, и не в силах противостоять авторитету медицинского работника.

Мы с Владом ждём, почти хотим фальсификаций. Для нас выборы — детективная история. «Где-то они нас надурили, не могли они не надурить», — размышляет Влад. Когда же, ну когда придёт рота солдат, о которой пишут в «Твиттере»? Говорят, голосуют всем взводом. У командира спрашивают, где поставить галочку. И когда придут «карусельщики» — красная ленточка на запястье, чтоб своих узнавать?

События разворачиваются ближе к вечеру. Оказывается, многих избирателей нет в списках. После семидесятой квартиры идёт семьдесят четвёртая, а потом семьдесят шестая. Какая-то старушка ковыляет, ведёт своего деда, весело ворчит: «Пойдём, дед, долг исполним». Идут на выборы вместе, семьёй, они только на выборы вместе ходят. А ведь могли бы заказать урну на дом, но так ведь могут и обмануть... Кругом обман! Надо самим дойти, по старинке, чтоб наверняка. И старушка не находит себя в списках.

— Вы меня похоронили уже? Мне, слава богу, семьдесят четыре! Я к вам больше не приду! — она уходит, а все молчат. Не знают, что сказать, как остановить. Будто случилось страшное. Кажется, здесь не просто выборы проходят, а решается вопрос чьей-то жизни

и смерти... А что, если я живу, а в списках меня уже нет?

На выборном участке тикают часы и слышно, как строчит ручка. В мутно-зелёном аквариуме возятся полумёртвые рыбы...

За час до окончания выборов на избирательный участок врывается безумец с красными, видно, бессонными глазами.

— Я наблюдатель от Навального...

— Отойдите от стола! Вы от какого участка?

Листает журнал. Сминает страницы, дышит тяжело. Ему явно плохо. Мне его жалко...

— Здесь отсутствуют номера, вы видите? Видите, после семидесятой квартиры идёт семьдесят четвёртая? Шестнадцатая и сразу двадцатая!

Ему что-то объясняют, спокойно, как помещанному. Я представляю, как беру пульт от телевизора... Выключаю звук. Они двигаются, жестикуют, доказывают.

Что он может поделать, помешанный наблюдатель от Навального, которого левым ветром занесло невесть откуда. Квартиры вычеркнуты, а избиратели, не нашедшие себя в списках, расстроены. Они пришли голосовать. И именно их — нет. Но если это не опечатки, не массовые ошибки, если номера квартир убирался человеком, а не свихнувшейся машиной-роботом... Зачем? Я гадаю, вслушиваясь в шуршание бюллетеней.

Они заходят в кабинку и выходят, как правило, довольные, будто что-то прекрасное случилось с ними там, в кабинке. Совершили ритуал приобщения...

Между тем участок закрывается, и, сопровождаемый злобными шуточками председателя, начинается подсчёт голосов. Меньше всего — за Дегтярёва и Левичева. Поэтому, когда демонстрируют бюллетень за Дегтярёва, все хлопают и по-детски радуются.

— Главная интрига! — объявляет председатель. — Левичев или Дегтярёв, Дегтярёв или Левичев? Нешуточное противостояние, борьба, за Левичева два, за Дегтярёва три...

В конце концов председатель объявляет на камеру результаты. Участок наполняет напряжённое, какое-то искусственное возбуждение... На моём участке побеждает Навальный, на участке Влада — Собянин. Мы с Владом разъезжаемся по общагам... Чувствуем себя командой и всю дорогу целуемся. «Ты показала себя», — радуется Влад.

Это секрет, но скажу: на выборах я работала только ради Влада.

Иллюзии

МЫ БЫЛИ ВОСПИТАНЫ советскими родителями — они вещали нам откуда-то из другого мира, в котором остались навсегда. Из советского прошлого сквозь толстое стекло они кричали: «Дети! Главное — это образование! (Твоя работа сейчас — учёба!)». А работать нужно по специальности, в государственном учреждении, получая «белую» зарплату... Иногда они говорили, что надеяться следует только на себя... Но в душе бессознательно верили, что наверху до сих пор сидит добрый дядя, который позаботится, не оставит и всё устроит. Но мы видели, наверху... Наверху только бог.

Они протестовали, когда мы начали торговать иллюзиями. Естественно, мы начали торговать иллюзиями — мы же хотели стать героями цифрового века! Забросив тромбон, Влад стал снимать видео. И невольно осуществил желание своего папы, стал техником, человеком, который знает, что делает... Иллюзия, созданная им, — мелькание света и цвета для услаждения самолюбия твоего заказчика. Часто меняй картинку, во время концерта залезь на сцену к музыкантам, почти запнувшись за пульт с нотами, и снимай, лови мгновения порхающей жизни, а грусть на лицах — вырезай, удаляй, фильтруй. Техническая работа оператора отличалась от работы музыканта. Казалось, в ней было меньше любви...

Влад стал мыслить техникой. Мне становилось страшно. Перекос случается тогда, когда не в электронном мире мы узнаём настоящий, а в реальном — мир электронный.

Влад показывал на розовый тысячелистник, выделяющийся среди белых соцветий:

— С балансом белого напутали.

Замечал, что поле в цветах похоже на игру «Скайрим».

Когда я умывалась, говорил:

— О, тебя подретушировали!

Видел трещины в асфальте и хотел их «замазать в Фотошопе».

Когда мы тряслись в машине на неровной дороге, Влад утверждал, что это 5D-эффект.

Мы не видим мир, видим лишь графику с высоким разрешением... Не обращаемся к богу, спрашиваем у Google...

Работа с техникой была красива, но красотой, которую мне не понять. Красотой точности, выверенных линий. Красотой результата.

А Влад хитрый! Очутился у самой кормушки: его друзья-музыканты хотели себе клип.

Профессиональный клип, в котором они крутые, недорого. И Влад выступал оператором в шкуре музыканта, хитрил, притворялся, занимался на инструменте для виду. Зарабатывал на тщеславии творческих натур. Я-то думала, что полюбила музыканта, расплывчатую творческую личность... А оказалось, влюбилась в техника, влюблённого в симметрию неутомимого борца с неправильностями.

Я пыталась соединить заработок с творчеством и работала удалённо копирайтером. Отличное было время! Иногда заходила с ноутбуком в кафе и оставалась до вечера. И когда травила на пирожки ровно столько, сколько зарабатывала, сочиняя рекламные тексты, — считала это проявлением закона вселенской гармонии. Видела свои тексты на сайтах, на посещаемых сайтах. Тексты без авторства, тексты, созданные ради чьей-то наживы, — пускай! Пытаясь заработать, писала тексты на тему «как заработать в Интернете». Но меня, торговку иллюзиями, положение моё не огорчало. Скорее, забавляло. Преданно склонялась пред голубеющим в темноте экраном и, доедая заработанный пирожок, улыбалась. Как здорово я написала, и кто-то ведь это читает. Может быть, прямо сейчас...

Я писала от души... И тогда мне могли заплатить на двести рублей больше. Однажды, поссорившись с Владом, написала рекламную концепцию — в слезах, думая о самоубийстве. Тот текст давно затерян, но суть и настроение помню... Берегите ваше время, берегите ваше пространство, берегите ваше здоровье, берегите... С нашей мебелью.

— Я написала это, думая о своём молодом человеке, — сказала я начальнице.

Она ничего не ответила. Она и не должна была ничего отвечать. Но мне почему-то стало обидно... Это ведь мои чувства, отлитые в форму вашей рекламы! Мне заплатили на двести рублей больше.

В Сети встретила самого Ofgeya — изящный профиль, голова окутана постмодернистскими облаками. Забросил лиру и стал писать стихи да сценарии, в основном про тампоны и майонез, рифмуя ключевые слова «купить в Москве недорого». Однако московские боги обитают не только в Интернете! Где-то здесь Гермес, самый быстрый на свете, устав от глупых божественных поручений, работает доставщиком суши. А по Арбату гуляет Одиссей, славный сын Лазэрта — вернулся из путешествия и сразу нашёл себе применение: устроился в турагентство.

Дети двадцать первого века, мы стали продавцами иллюзий. Но дети своих советских родителей, мы остались в меру наивными. Наверное, потому мы и нашли друг друга. А может, ещё и потому, что я носила платья, как у советской куклы. Понятные платья, где подол — это край платья, а вырез расположен выше груди.

Владу заказали рекламу лазерной арфы. Создать иллюзию об иллюзии...

Лазерная арфа — музыкальный инструмент в клубах. С ней делают шоу! Девять зелёных лучей расходятся вверх и отражаются в тёмных очках музыканта. Он играет — перекрывает свет рукой в перчатке и извлекает электронный звук, этакий джедай, управляющий девятью лазерными мечами сразу.

Я сочинила Владу сценарий, и он снял ролик для компании, производящей эти арфы за триста тысяч.

Реклама лазерной арфы

СТАРАЯ ДОБРАЯ БИБЛИОТЕКА, потрёпанные корочки книг. Читальный зал. Входит девушка, красивая, с обложки журнала, из самых недр модельного бизнеса, одним словом, Барби. Стройные ножки в мини-юбке говорят о том, что она — секси. Очки в чёрной оправе модной формы намекают, что она, помимо прочего, умна...

Девушка садится за парту и читает. Причём не что-нибудь, а «Метафизику нравов» Иммануила Канта.

К ней подсаживается раздолбай. Рэпер. Непонятно, как его пустили в библиотеку в дражных джинсах и мятой кепке...

Ах, какие ножки! Познакомиться бы... Она для него недосыгаема, но столь притягательна, что он решается.

— Девушка, что вы читаете?

Она смотрит презрительно. Показывает обложку, «Метафизика нравов», серьёзная книга.

— Девушка, а пойдёте вечером в кафе? — от восхищения рэпер делается наивен. — После библиотеки, а? Вот позанимаемся немного и пойдём!

Девушка смотрит поверх очков и спрашивает тоном учительницы:

— А вы чем вообще по жизни занимаетесь?

— Я... На арфе играю.

Из-за кадра слышатся переборы арфы.

— Мммм... Ну, пожалуй, можно прогуляться... — говорит развязным тоном. Однако видно, заинтересовалась.

Следующий план: рэпер играет на арфе в клубе. Крупно: пальцы, очки. Общий план: ликующий зал, триумф!

Девушка одета так же, и в руках её та же книга... Губы только покрашены ярко-красной помадой. Говорит соблазнительно:

— Я и не знала, что ты такой... современный!

Эротичным движением она снимает обложку про Канта с книги, а на книге написано:

«Секреты идеального секса».

...Люблю срывать обложки со скучных книг.

Свой первый совместный заработок мы прогуляли как можно более бессмысленно. Купили моторную лодочку, чтобы сделать фонтан из её мотора. Цепей для сексуальных утех. А на сдачу Влад приобрёл пыльную кипу старых журналов «Юный техник». Он скупил всё, что было, потому что читал их в детстве — журналы твоего папы.

Сейчас таких журналов нет. А как бы я хотела... Хотела быть «юным читателем», пишущим об изобретении. Хотела бы читать о практике школьников на заводе. О том, как могу помочь России. Нет, вы представляете? Мне, допустим, пятнадцать. И я могу помочь России! Сделать взрослое лицо и не потерять его перед учёным советом, перед дорогой редакцией...

Но я не юный читатель. Юные читатели вымерли после 91 года.

А я девочка, пишущая письмо в редакцию о проблемах с ногтями, кожей и волосами. О вечных проблемах — мальчик любит, хочет секса (дать — не дать), бросает. И, вообще, я купила журнал, а не полезла в Интернет. Значит, я умничка. Значит, занимаюсь «саморазвитием», «самообразованием». Женское «саморазвитие» похоже на пляски глупой дрессированной собачки. «Я женщина, а значит, я богиня» — прочти в Интернете и прокачивай самооценку два раза в день... глупо.

Всё-таки дура

КРАСНЫЕ. ЗЕЛЁНЫЕ. Синие. Когда на глаза наворачиваются слёзы, бутылки странно, смешно вытягиваются и переворачиваются, будто в калейдоскопе. И я, наверное, уже пьяна.

На день рождения пригласила Влада и одногруппников, и вот едят помидорно-огуречный салатик, в последнее время у нас многие стали вегетарианцами.

Они поедают салатик и не знают, что за грудой одежды, учебников и тетрадок в шкафу лежат мои крылья. Давно их не доставала. Потому почти перестала верить в них, есть ли они? Но они есть, мои крылья. Правда, не как у птиц, а цифровые, свёрнутые в полый трубка.

Крылья не надевала. Но сущность моя осталась прежней. Вокруг меня извиваются змеи-журналисты: вж-вж-вжжж, кровь, правда, горячий раствор метафор пахнет спиртом и ударяет в голову... Вокруг меня поэты встают по ночам за луной — за романтической дымчатой луной, за кровавой предвоенной луной, за холодной, одинокой, они ловят луны своими поэтическими зеркалами... Вокруг меня кружат жадные карьеристы — то одним боком к камере повернутся, то другим... Я не с ними.

Сущность моя осталась прежней: мне нужно понять, как, из чего сделан мир. И нет тут никакого практического применения! Просто где-то там я подписала контракт, о котором почти забыла, контракт, по которому я, исследователь, отправляюсь на Землю, чтобы такого-то числа такого-то месяца благополучно умереть и предоставить результаты... Только кому это расскажешь, я не могу, я не умею сказать...

На моём дне рождения собрались такие разные люди... Есть тут творческие девушки, будто разукрашенные под гжель, под хохлому. Из тех, что ищут друг друга, говорят друг о друге: «Он интересный». Найдя, ведут беседы, как сейчас, — ищущие, куда-то плывущие... Говорят что-нибудь воздушное, а после — понимающе качают головой. И плывут вместе в манящее будущее, сидя на кровати в маленькой общажной комнате, где на столе — чулки вперемешку с шоколадными сырками. Положишь ладонь — крупинки сахара впиваются в кожу. Впрочем, среди творческих попадают и такие, которые превращают комнату в площадку для самовыражения — и в тот миг важно всё. Если шкаф не к душе, пододвинем шкаф, поссоримся из-за шкафа с соседом, переживём бурю, поплывём дальше в маленькой лодочке, а за окном маяком — Останкинская башня.

Пришли ко мне и девочки-девочки, слепленные, сделанные, жеманят губки. При случае говорят, что они толстые — это высказывание не зависит от размеров. Скорее, действует обратный закон: стройная девушка часто доказывает окружающим, что она толстая, а толстушка молчит с бесстыдной улыбкой.

Пришли и спящие красавицы. Они будто бы спят в мире фильмов, каких-то героев, ино-

странных имён. Кажется, они никогда не говорят серьёзно, всё дурачатся, счастливые! Играют, шиплют друг друга, словно щенки. У них ещё не включился режим охоты на мужчин, не зажглась красная лампочка. Они спят. У них блокнотики, карандашики, цветные картонные чашки. А главное, они всё пытаются представить из себя что-то, верят, что картонная кружка или остроумное высказывание сделает их круче.

Забулдыга, вечно рассуждающий о литературе, единственный парень в нашей компании, кроме Влада, сидит на полу у холодильника и показывает девочкам видео с планшета. Девушка бросилась под поезд на пути. Две женщины посмотрели, не сообщили, могли спасти... Взглянули во второй раз — она была мертва. Как всё быстро происходит на свете! Не раз мерещился мне такой исход. Спуститься по лезвиям-ступеням эскалатора, шатаясь, выйти на платформу, отразиться в мертвенном свечении подземных ламп, расплывчато, будто уже призрак. И вот ещё несколько мгновений, и свет в конце туннеля — в прямом смысле, и принести себя в жертву синему змею, как сделал тот отчаянный парень, из-за которого было не уехать по серой ветке весь день...

— К вопросу о современной литературе! — объявляет забулдыга. — Литература — это мясо. Писатели делятся на падальщиков и охотников. Падальщики добывают мясо, которое лежит под носом. А охотники — их почти сейчас нет. Они преследуют материал, гоняются за ним...

— А я могу не читая определить, хороший текст или нет.

Забулдыга смотрит унижающим взглядом, ждёт от меня глупости.

— Достаточно пробежаться глазами. Если текст хорош, от него фонит болью, будто текст... радиоактивный. Ночью не уснёшь — светиться будешь.

— А если боли много, а текст плохой?

— Тогда надо идти в политику... — говорю я. А они почему-то смеются...

— Надо просто обладать душой крестьянина и мозгом интеллигента. Тогда всё получится.

— Вообще я думаю... За современных писателей давно пишут писатели умершие. Сидят и пишут, диктуют нам оттуда. Ничё оригинального создать сейчас уже невозможно.

Когда я говорю с ними, будто передвигаю тяжёлые камни. Но никто не видит, что мне тяжело. Я научилась улыбаться под нужным углом.

И имитировать смех могу. Прищуривать глаза. Поверьте, это несложно.

В комнату заносит Воробьёву, только что из душа, завёрнутую в синий халатик с жёлтыми морскими коньками, и становится светлей. Всех взъерошило и переполошило.

— Ой, — говорит она, улыбаясь и разглядывая кусочки шоколадного торта, — ой, какая красота!

Как-то я видела её в общажном душе и оттого знаю... У неё стройное, мягкое тело в лёгких ямочках и складочках, как небрежно заправленная постель, а на спине — татуировка в виде крыльев бабочки. А ещё неподвижная улыбка — тонкие губы, зубов не видно никогда, кажется, она стесняется какого-то дефекта — делает её похожей на глупую мягкую игрушку. Но она милая, от неё хочется глупо улыбаться.

Она садится напротив Влада. И, глядя только на него, обращается ко всем:

— Завтра фольклор сдаю. Расскажите детские игры?

Влад улыбается и глядит, гладит взглядом. Ему бы понравились крылья бабочки. Внутри меня поднимается буря, и порыв ревности топтит мои корабли, мне хочется вскочить и закричать, кинуться, броситься...

А я говорю. Спокойно. Громко.

— Я помню. Мы играли в резиночку. Было так, помните?

«Палка, палка, палка, в круг.

Палка, за круг — в круг, за круг,

В круг, за круг — по палочкам,

Заворотик — галочка».

За круг — это когда ноги за резинкой. В круг — прыгаешь внутрь. Палка — резинка между ног. Галочка — выпрыгиваешь.

Вы помните?

Они не помнят... Воробьёва включает диктофон и говорит: «Повтори». Кажется, все в комнате смотрят на меня.

— У нас такого не было. Мы на скакалке прыгали, — говорит кто-то.

Нет, мы играли «в резиночку». Было много уровней... Иногда доходили до десятого, но чаще до третьего. А помните «трёши с поворотиком»? Прыгаешь три раза на одном месте, потом разворачиваешься — снова три раза, приходишь до края — прыгаешь по два, а потом по одному...

Девочки оживились.

Но они не помнят.

— Ещё были «лягушечки». «Побегушечка». «Раз пулемёт, два пулемёт, три пулемёт»... Неужто не помните?

Не помнят. Продолжаю рассказывать... Лицо горит. Тёплый чай в гранёных стаканах светится янтарём, звенит посуда, когда кто-нибудь толкает нечаянно стол, сталкиваются, целуются под столом чьи-то ноги в тапочках. Говорят, говорят, говорят... Помните, как прыгали? Вы помните? Но они не помнят... Смеются, режут торт, и кремовые крошки размазываются по коробке... Берут по кусочку, чтоб не показаться жадными, по маленькому, да потом ещё... Раз — пулемёт! Два — пулемёт! На «третьих» тяжело, но в нашем дворе были прыгучие девки! Да неужто не помните, неужели не было, но вы же девочки, а я так любила резиночку, натягивала её вот так, а потом прыгала, прыгала, представляете?

Они не помнят... Я — тем более.

Вспоминаю то, чего не было. Я никогда не прыгала «в резиночку». Я только наблюдала издалека... Мама купила мне розовую резиночку в чёрно-зелёную крапинку, и я натягивала её между стульями, разучивая «трёши с поворотиками». Но девочки во дворе отобрали её, выпросили... Я сама сказала им: «Подарю!». А потом призналась, что пошутила. Да кто ж меня слушает...

В конце концов, я была душой.

Раньше думала: вот встречу человека и расскажу ему... И прольётся из меня ядовитое зелье, выпитое в детстве... Но человек всё не приходит. Влад говорит: «Да забудь ты, прошло всё!». А человек — не приходит.

А с годами зелье... застывает, что ли. И не выливается. Внутри камень, оттого и тяжело.

Но видите, я говорю с ними. Я умею общаться, потому что верю десяткам книг, поскольку сотни практик. Человек может всё что угодно, слышите? Я верю в старый книжный шкаф, верю в Google! Я читала: никогда нельзя отчаиваться. Красное, синее, зелёное, и зелёное, и зелёное зелье... Вот и закончился мой день рождения.

У входа остановилась и оглянулась: на другом конце комнаты Влад не заметил моего отсутствия. Он смотрит на Воробьёву.

И я сбегая на крыльцо общежития. Порыв ветра принёс искорки чьей-то пламенной речи.

— Я реализм люблю, — слышу чей-то внушительный бас. — Когда красиво так и по-настоящему...

«А я всё люблю», — думается мне. И перед закрытыми веками возникает лицо деда. Почему именно теперь? И понимаю, что его предсказание начинает сбываться. Вокруг переливается осенний мир, бирюзовый, солнечно-жёлтый, бескрайне белый... Кружится, светится, и всё в нём повторяется... И я иду — назад, сквозь Чечню — к Дуре, к истокам.

«В правительстве все зажрались», «литература вымирает» — привычно кружатся клочки чьих-то фраз. Почему в мире столько вещей, о которых не хочет думать моя голова?

И тогда, повинувшись нелепому инстинкту, отправляюсь гулять по рельсам и махать поездам. Я свободна! И самое свободное во мне — мои мысли. Спустя час я далеко: вдыхаю запах мазута. На пронсящих электричках гроздьями прилепились парни-экстремалы. Вдрагиваю: храни их бог капризного межвагонья! Машу им рукой и машу рукой машинисту, и он в ответ сигналист. Подкладываю монетки под поезда, а потом ищу их, кладу на ладонь, гладкие и горячие. Бегу по шпалам, наступая на каждую, а потом перепрыгивая через одну. Я уже полюбила Москву, похожую на весёлый базар, где взлетают ввысь мигающие игрушечные вертолётки, — провожаю их взглядом, а потом отбегаю — боюсь по голове стукнет.

А потом... Честно говоря, не уверена, что это не сон. На перроне, залитом светом, в котором кружится дорожная пыль, толпятся пассажиры. Пот льётся по розовым шеям мужиков. Женщины шумно обмахиваются газетками.

Я узнала его. Похудел и одет из бутика, какая-то модная рубашка — английская клетка. Малой. Наш сибирский Малой!

Будто своим видом показывает: смотрите, я теперь настоящий москвич, а то, что было где-то там, ко мне не относится...

Он тащит за собой разбухший чемодан и маленькую девушку — видимо, из тех, которых мама воспитывает как принцесс. Она милая и ненакрашенная, мне нравятся её изящные серебряные босоножки — сплетение нитей на тонких ножках, семенивших, еле поспевающих за Малым. По тому, как она его догоняла, я поняла: она его любит.

— Привет, — говорю Малому.

— Привет. Ты кто? — кажется, он пытается меня вспомнить...

— Я? Чечня...

— А-а-а... Не помню такой. Ты меня с кем-то путаешь...

— Не путаю! Ты дразнил меня больше всех. Но ты не думай, я не обижаюсь...

Тут до меня доходит: он действительно не помнит. Смотрит на меня и силится вспомнить, видя мой напор. Но его глаза пусты. Маленькие глазки. Совсем не такие мерзкие, как тогда в школьном коридоре. Мы стоим на солнечной платформе напротив друг друга — двое взрослых людей. Что связывает нас? Пожалуй, ничего.

Девушка ревниво дёргает его за рукав. Дзынь-дзынь.

— Мне пора. Извини, — говорит он.

Я почти не слышу его слов. И понимаю, что мои воспоминания не имеют смысла. Прошлого не существует, есть отблески памяти. Некоторых они ослепляют как взрыв — так появляются слепые люди, неспособные воспринимать настоящее. Их много на свете, и я одна из них. Мы ослеплены прошлым; нам всё кажется, что мы во тьме несём свой груз неведомо куда. Но теперь я знаю. Груз, который я тащила, оказался мешком с мусором. Тяжёлым и в торжественно-траурной упаковке, но всё-таки — мусором...

И пусть они не назовут меня по имени никогда. Я так и осталась — Дурой.

Когда я вернулась, гости уже разошлись. Нашла недоеденный торт с обезглавленными розами, спящую Еву (испугалась, проверила: спит или умерла?), забытый телефон с двадцатью пропущенными от Влада и сорока от мамы. В наше время отношения измеряются количеством пропущенных... Маме позвонила и сказала, как обычно, всё замечательно. С Владом долго просили друг у друга прощения... Я могла бы многое ему рассказать. О том, как мне тяжело с людьми. И о том, что мне всё чаще кажется, будто подкраватные сказки кончатся и я разучусь верить... И тогда всё. Не знаю, что именно, но — всё. Однако я любила Влада и потому старалась его не расстраивать. Болтала об общих знакомых и последних новостях и старательно, последовательно наполняла обыденные слова радостью. Простые слова; чистая, нежная радость.

Лиза

МЫ ПОСЕЛИЛИСЬ в однокомнатной квартире в Новосибирске. Влад обклеил свою половину оранжевыми обоями, мою — светло-зелёными, цвет весенней травы. Я расставила по дому

игрушки, и наш мирок наполнился существами... У нас есть подушки-бобры и бобрята, и маленькая круглая мышка Каролина, она сидит на мячиках, захватила власть над квартирой, точнее, над галактикой. Каролина обожает власть, потому что в нашей галактике она самая маленькая, а все маленькие обожают власть! На подоконнике — лимон, мы наряжаем его в качестве новогодней ёлки. А на люстре гирлянда, сделанная из монеток и жетонов разных городов: Москва, Владимир, Ярославль, Красноярск, Томск, Минск, заденешь — и гирлянда стучит, звенит, зовёт покорять мир. Но мне не нужен мир. Мне нужно только мою галактику, маленькую, тёплую, которую я создаю, как мне хочется, чтобы Влад возвращался каждый вечер. Мы спим под фосфорными звёздами, клею на потолок бумажки с названиями придуманных созвездий: Агрх, созвездие Большого Бобра, Малый Бобёр. Когда нам хочется успокоения, мы слушаем плеск фонтана — струя переполняет пивную кружку. Когда так плохо, что хочется молиться, мы зажигаем свечи, десятки свечей из «ИКЕА» в цветных подсвечниках. Когда нам весело, мы составляем слова из шоколадных батончиков, названия любимых книг и произведений, а потом съедаем их — вот и всё искусство...

Родилась Лиза, и всё изменилось. Я, эгоистка из поколения X, стала вдруг заботиться о ней... А про себя позабыла. Тоже, правда, своеобразный эгоизм.

Это похоже на первые дни влюблённости. Когда не высыпаясь, как в бессонные ночи ревности... Сначала я очень боялась уронить Лизу или задавить её во сне. Я тогда так хотела спать, что засыпала везде. Однажды заснула на стуле и перепугалась: мне показалось, я её уронила. Закричала, потом не могла уснуть долго...

Лиза живёт в безвремяе. Она долго сидит спокойно, смотрит за окно и говорит: «Там мои барашки, я возьму их на ручки». Откуда это — непонятно. Перебирала все мультики в голове, так и не поняла, откуда барашки.

А потом она говорит: «Мама, там снег», — показывает на улицу. «Нет там снега!» — говорю. «Сне-е-ег», — жалобно убеждает Лиза. Ветви деревьев рассекают синее осеннее небо, солнце золотит подоконник. Я режу огурцы в салат, задумываюсь о чём-то, мысли в голове бессвязны. Когда поднимаю голову, за окном идёт снег. Крупные хлопья падают и тают на мокром асфальте. Вот оно — детство, когда время ещё не

разделило пространство. Лиза первая увидела снег, когда его ещё не было.

Лиза крутится возле меня на кухне, помогает, приносит мне чашки, ножик принесла — я научила её подавать нож правильно, ручкой вперёд. Она встаёт на цыпочки и сбрасывает яйца со стола, и я слышу, как где-то тихо матерится Влад. А она смотрит, смотрит, как они растекаются по полу, смеётся, ей интересно. Но я же дура, я не буду её ругать. Подумаешь, яйца. Мы новые купим. А бьются они классно.

Влад теперь целыми вечерами в наушниках. Бывший музыкант, он тяжело переносит Лизин крик. Если честно, мне хочется увидеть его прежним, лёгким мальчиком, любящим игрушки своего детства: «Танчики», «Макс Пэйн» и такая игра ещё, где надо стрелять по уткам, помните?

— Люди играют в игры в метро, чтоб не видеть рожи друг друга, — говорит Влад и хмурится.

Ему теперь кажется, что раз он содержит семью, значит, надо носить серьёзное лицо. Я же всё чаще чувствую себя одной из технических деталей на его столе, вон их сколько: провода, клеймы, каждая закреплена. После свадьбы Влад начал проявлять удивительную аккуратность. И я — одно из его устройств, Влад намекает о чём-то интимном — шутит про мой «разъём» и «апгрейд». А я говорю ему:

— Пойми, ты не только оператор... Ты муж, отец, друг. Ты не только оператор... А я не устройство.

Но он меня не слышит, не слышит... И мне больше не хочется говорить. Мне даже не хочется придумать новое созвездие или дуть в бутылки, наполненные водой, чтобы звучала музыка. Мы теперь взрослые, мы должны говорить о том, как мы заняты. Заняты, заняты, заняты! Как нам не хватает времени. Не хватает! У нас нет доступа в страну безвременья, где бывает моя Лиза.

— Наконец-то на работе аврал кончился, — Влад вздыхает.

— Так надо новый купить! — кричит Лиза откуда-то издалека, из безвременья.

Смеётся.

— Я стал совсем как папа, — говорит Влад.

— Но почему ты не можешь быть другим?

Влад не замечает моего вопроса. Не слышит. Не чувствует.

И тогда я задумываюсь... Неужели мы обречены повторять и повторять, расплачиваться

за ошибки прошлого, не только своего, но и чужого... Я представляю... Личный порочный круг превращается в спираль последующих поколений, спираль, которая уходит куда-то в тёмную сырую глубину времён, до которой уже, увы, не достать, и теряется в небесно-голубом будущем. Нашем будущем. Воздушном, полупрозрачном, мы пытаемся предугадать его, но угадываем в нём только хорошее. Порочная прочная спираль из глубины веков, ржавая от слёз наших бабушек и дедушек, разрезает чистую синь будущего — ту, которую мы с тобой только вчера намечтали, она рушит её, и ты явственно слышишь: «Нет, нет, нет, так не бывает, так бывает только в сказках, помнишь, как было с твоим папой?». Дай бог тебе победить своё прошлое! Дай бог не видеть, не слышать, не поддаваться...

Я решила, что у Лизы будет всё по-другому. Она будет дружить с детьми, станет первой красавицей класса. Она никогда не узнает, что её мама — дура...

Недавно Лиза начала ходить в детский сад. Сейчас она сидит и рисует собаку. И я рисую собаку. Мы поспорили, кто нарисует лучше. Когда я заканчиваю, Лиза разглядывает моего вислоухого жёлтого пса. Говорит: «У тебя лучше». Замазывает мой рисунок коричневой краской — ляп, ляп! — и смеётся.

— Лиза, так нельзя!

— А Витя так делает, когда я рисую домик.

Витя... Я слышу о нём не в первый раз. Подозрение давно закралось... Неужели Лиза... такая же, какой была я? Жар приливает к лицу — мне стыдно... Будто бы это меня обидели, и вот я не знаю, что мне делать.

— Он обижает тебя?

— Так он обижает тебя? Что молчишь?

Лиза краснеет и как-то странно отворачивается. У неё уже есть от меня секреты.

И тут я впервые понимаю, что она — это другой человек. Даже не смесь меня и Влада, Лиза... У меня нет над ней власти, никакой. А она ведь уже пишет свою историю, она живёт своё, новое! А что, если...

Два дня подряд Лиза возвращается домой в слезах. Молчит, похожая на загнанного зверька.

— Слушай, я не уверена... Влад, Лизу обижают. Мне кажется. Поговори с ней, Влад, ты умеешь...

— Говорил уже! Она плачет, потом отвлекается и смеётся.

Невыносимо. Кажется, я в ловушке, в западне, ну почему я никак не могу вырваться из круга, который очертила себе сама? Почему даже в Лизе проявляется эта чеченская сущность, проклятая слабость маленькой девочки, которую все обижают? Ген изгоя. Так нечестно! Папа говорил, во мне божественный ген. И Лиза — из тех, кто произошёл от бога. Не от обезьян, не от инопланетян...

— Может, поговорить с воспитательницей? — предлагает Влад.

Но я чувствую, что не могу. Боюсь. Они увидят Чечню. Мама — такая же, как дочь. Они посмотрят на меня совсем недолго, три секунды. И всё поймут.

...Когда-то я застряла в школьном коридоре. Мальчишке под сорок, но он держит дверь и не отпускает, хотя ему самому надоела игра, он умоляет:

— Выпусти меня, Чечня, отпусти! Почти двадцать лет я держу дверь школы — о, танталовы муки! Нет тяжелее работы, чем поддерживать миражи, Чечня!

«Но как же я выпущу тебя, ты же сам держишь дверь? Ты же знаешь, у меня тройка по физре, мне не прорваться... Вот гляди, я бегу, я рвусь к двери, почему ты упираешься? Ты плачешь — выпусти! — и не пускаешь меня. Мы взрослые люди, я давно не Чечня, а ты не противный пацан».

— Выпусти меня! — он упирается сильнее, отталкивает меня от выхода. Из его ладони сочится струйка крови, школьный полумрак дрожит серебристым мерцанием, окна расходятся трещинками-паутинками, сколько раз я пыталась выбить их, а они не рассыпаются, дрожат и звенят, будто смеются надо мной стеклянным смехом... Здесь по-прежнему звенит звонок, бескомпромиссный и оглушительный, заведённый кем-то давным-давно, он стал хрипнуть с годами, походить на рык медведя, и я должна идти на урок, только я проверяла — нет никого в классе! Я одна в школе, да вот ещё этот пацан, я пробовала узнать его имя, он не говорит... В остервенении держит дверь. Ненавидит — по-настоящему.

— Это ты меня... выпусти! На две секунды отойди — один раз за двадцать лет? Почему ты не отойдёшь?

— Потому что ты меня держишь, Чечня!

— Слушай, это бред какой-то! Ты сам отталкиваешь меня и при этом говоришь, я держу.

— Держишь. Чечня, если бы ты знала, как я устал...

— А-а-а-а! Чёрт возьми,пусти меня,пусти! Хватит! Пошутил и хватит! Ты придуриваешься? Ты ведь прикалываешься, да? Ну да, я виновата, мне надо было заняться спортом и пойти навстречу... людям... Я виновата, я Чечня, но я же довольно наказана! Хвати-и-ит!

А он плачет так, как не должен плакать пацан, сдерживает мой натиск, — солдат, которому некуда отступить. Страшно смотреть в его тусклое лицо, покрытое холодным потом, выпусти, выпусти, я давлю, пытаюсь его сдвинуть, напираю, толкаю... Он говорит, я его держу; но я ведь не держу его, правда же, правда? Может, придёт учительница и заставит его уйти. А она уже двадцать лет не приходит... Отступаю назад, в тревожный тёмный коридор, и школа погружается на дно, она тонет в тумане, и я просыпаюсь...

...

Я записываю мысли и воспоминания, и от этого только хуже.

Мне хочется литься в общении потоком. Вода забывает. Она умеет забывать... А я пишу, и мне приходится застывать льдом. Счастье — когда не задумываешься. Правы буддисты, они рекомендуют отключать внутренний диалог. Слова — острые льдинки, от них больно. Но однажды я войду в реку забвения, я растворюсь... Только вода умеет по-настоящему забывать.

У входа в садик сталкиваюсь с Ниной. Когда-то мы вместе ходили на психологические тренинги. Нина — пышная блондинка, женщина во всех смыслах. Она работает в платной психиатрической клинике. Её подчинённые — мужчины младше пятидесяти, а метод у неё простой — они готовы на всё ради неё: и принимать омерзительные лекарства, и подниматься по утрам на пробежку. Терапия у них превращается в акт служения богине. Это из-за Нины я решила: когда состарюсь, у меня останется последний козырь... Перекрашусь в блондинку и стяну грудь тесным лифчиком на размер меньше, чем нужно. Нина — тот классический женственный тип, которым нельзя не очароваться; а какой у неё голос, мягкий, с томной хрипотцой, исходящий откуда-то из глубины! Стыдно сказать, иногда мне кажется, стоит дотронуться — она застонет.

Нина мило картавит. Её муж потому и заметил её — психолога, который не выговаривает букву «р». Дождался у клиники, встретил и говорит:

— Девушка, скажите «рыба»!

А она ему:

— Селёдка!

Тут он её и подловил.

И они жили долго и счастливо, пока однажды друг мужа не сказал: «А мужья вообще не хотят своих жён!». Каким болезненным оказалось для неё это открытие, мужья вообще не хотят своих жён, неужто правда? И как это психологические защиты сработали, что она сразу не поняла... За ту неделю, в течение которой богиня не появлялась в клинике, случилось пять рецидивов! Её муж не мог удовлетворить переизвешую нежность своей стареющей женщины.

А ещё у Нины есть сын Витя, которого раньше все ненавидели. Теперь — Вите подарили планшет. Витю запихнули в виртуальность и оставили там. Он играет на планшете в разные игры, иногда пытается научить играть маму, но у неё плохо получается, и Витя смеётся. Планшет действует сильнее погремушки; отвлекает надолго... Кажется, родители рады, что сын молчит с планшетом.

Однажды Вите подарили книжку, настоящую, бумажную, и он стал водить по ней пальцем, как по планшету, и спросил на ломаном детском:

— Сломато?

Витя обижает нашего ребёнка. «Зато Лиза читает бумажные книжки!» — хочется крикнуть Нине в лицо.

Она встряхивает белыми кудрями и закуривает.

— Нужно поговорить, — говорит она. Я гляжу на неё молча. Догадываюсь, о чём будет разговор. Но пока набираюсь сил... Я вслушиваюсь в мир.

Журчит велосипедная цепь, и чмокают асфальт подошвы. Раскалённые шины утюжат дорогу — вжжжжих! В каком, оказывается, прекрасном районе находится моя школа! Розовые дома на фоне отчаянно голубого неба — чем не детство? Всё такое знакомое и в то же время чужое. Младшеклассники с портфелями за спинами сбегают с горки и прыгают через ручей, по которому плывут сигареты и кусочки пенопласта. И этот весенний запах сырой земли, свежей листвы... Я как будто бы смотрю кино про далёкое прошлое... А может, всё начнётся сначала. В чистой тетрадке и с красной строки... «Красная строка — пальчик приложили», — говорила мне учительница. Интересно, а как она Лизе скажет?

— Вам необходимо заняться воспитанием дочери. Непраздный, так сказать, вопрос. Лиза... —

Нина буровит меня взглядом, мне нравится слушать её голос с хрипотцой, — играет в королеву. Что она устроила, в курсе? Привязала Витю и этого друга его некузявого, знаете, Ванечку? Шёлковой ниткой. Потом она сказала, что они её бобры... и заставила их строить плотину из учебников. А вчера она заперла Витю в коробку. В коробку!

— Бобры? — удивляюсь я, поспешно приглушаю улыбку, чтобы скрыть неуместную радость...

— Он чуть не задохнулся, вы понимаете? Девочки загнали его в туалет, где он проплакал, пока Таня не освободила его... Игры у неё какие-то странные. Заставляет мальчиков молиться колпачку от ручки, называет его Богданом...

— Вам это Витя рассказал?

— Конечно, у нас с сыном доверительные отношения, — Нина говорит с подчёркнутой интеллигентской вежливостью. Видно было, что ей очень хочется покричать, однако природная вежливость мешает.

— Ладно, я с Лизой поговорю. Больше не повторится.

И тут я понимаю, что не стоит переживать. Мир в надёжных руках. Лиза поступает плохо и жёстко, её надо воспитывать, над ней надо работать. Её нужно настраивать и «апгрейдить», скажет вам Влад! Но это лучше, чем... Сильнее, чем...

Да, это лучше, чем.

...Я верю, что земной шар опоясан добрыми людьми. И попутчики кормят меня и не берут денег. Моя белая нежность уже готова затопить мир... Как же повезло мне и всем нам. Надо быть душой, чтоб понять это.

Но если я скажу, что миром правит любовь, меня обвинят в банальности, потребуют умных мыслей и философий, а я растеряла все философии в случайных камазах, бросила их в аудиториях Лита вместе с распечатанными шпаргалками... Мне нечего теперь предъявить. Разве что рассказать какую-нибудь сказку? Но ведь сказки любили в Советском Союзе, а теперь — реалистическое время...

А я, дура, всю жизнь бездумно лечу на свет, сияние, свечение, пламя. Лампа на тесной кухне сменяется уютным свечением настольной лампы в библиотеке, мерцают светлячки на листьях, трепещет красный огонёк на вышке и — гаснет, фары на трассе выхватывают мой силуэт.

Прошлое

...НОЧЬЮ МЫ С ПАПОЙ идём гулять. Он молодой, наверное почти мой ровесник, и прекрасно ходит. Прежде никогда его таким не видела.

— Прошлое, прошлое... — говорит он. — Вон оно, прошлое, — показывает наверх.

Закат догорает, и тлеет обугленное небо, его заполняют крупные звёзды, они вздрагивают, будто только проснулись, оживают, шевелятся...

— Смотри! Там есть погасшие звёзды. Свет от них доходит за миллиард лет. Эти звёзды погасли давно, а ты под куполом прошлого! Мы все ходим под прошлым, хотим мы или нет...

Что-то хочу спросить у папы, что-то важное. Мысли путаются, и я забываю что...

— Папа, скажи... — начинаю я... Он будто не слышит меня; его глаза смотрят вперёд и вверх...

— Помнишь, ты говорила: мы свободны, есть только настоящее? А глянь на небо. Там адские газовые котлы, и даже твоему воображению не

осилить эти расстояния... Скажи мне, история бессмысленна? Старые книги не нужны, когда есть Интернет, да? И ты не хочешь идти в музей. Хочешь прожить свой маленький кусочек бытия, будто природа отпустила тебе его в магазине на развес. Спокойно прожить и назвать это «счастьем», да?

Пространство раскалывается морозными узорами-розочками, будто замёрзшее стекло. Это зеркало.

— Папа... — мои губы шевелятся с трудом. Нужно спросить, мне нужно знать, но что, что...

— Не убежишь! — папа смеётся легко и молодо, как не смеялся при мне. — Вот главный музей планеты! Над головой! Вглядишься в погасшие звёзды, свет которых видишь, почувствуешь, как тосковали тысячи поколений, мучились от переходящей боли, разочарований, ты ощутишь... Может быть...

Он входит в зеркало, от которого веет холодом, и остаётся с той стороны стекла...

И больше не приходит никогда.